

Николай  
АХШАРУМОВ



ВАНЗАМЯ

# Николай Дмитриевич Ахшарумов

## Ванзамия

«...я оставался в покое, а быстро растущий в диаметре солнечный диск летел мне навстречу. Навстречу нам приближался с страшною быстротою бледный серп какой-то, ранее не замеченной мною сферы, имевшей вид месяца на рассвете. Судя по слабому свету и по тому как быстро он увеличивался в размере, можно уж было понять, что это планета... Скоро она заняла полнеба и заслонила от нас свое солнце; потом заслонила все; но наступившая на ней ночь не позволяла мне разглядеть ничего на ее поверхности. Мы были уж в сфере ее притяжения и, судя по всему, очень близко, когда я вдруг услышал: «Держись!..» Толчок, и мы опустились во что-то мягкое, наполнявшее воздух кругом незнакомым, но упоительным ароматом».

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0023
IV.....	.0046
V.....	.0069
VI.....	.0086
VII.....	.0101
VIII.....	.0106
IX.....	.0118

# Николай Ахшарумов Ванзамия

Назад тому несколько лет, в начал августа, я гостил у приятеля моего, военного землемера Б\*\*, в ту пору работавшего на Пулковской обсерватории. Это был один из милейших людей и большой хлебосол, но человек по горло занятый своим делом и не имевший досуга, который он мог бы со мной разделить. В течение первого дня, однако, он показал мне все сколько-нибудь замечательное в этом святилище недоступной профанам науки и с большим терпением объяснял мне множество сложных, в последнее время высокоусовершенствованных приспособлений. Но это видимо было с его стороны не больше как вежливое внимание к гостю; ибо он мог понять, что самая ценная часть его объяснения потрачена даром вследствие почти полного моего незнакомства с практикою астрономических наблюдений и бесчисленными ее затруднениями. К утешению моего приятеля, некоторые из виденных мною предметов и помещений все-таки интересовали, или, вернее сказать, забавляли меня своею необычай-

ностью. Так, например, я помню и до сих пор стеклянный купол одной из башен, диаметром сажени в три, который весь, с защищенными им инструментами и площадкой обсерватории, вращался очень легко, по воле занятого в нем наблюдателя. Помню часы, занимающие своим механизмом около четырех кубических сажений и помещенные, во избежание колебаний температуры, в глубоком подземном склепе, — часы с электрическим проводом в Петербург, регулирующим там выстрел полуденной пушки. Помню оптический инструмент такого размера, что в нем, по нужде, уместился бы рельсовый путь... И помню еще, как курьез, просторный стол, покрытый ватным, стеганым одеялом, под которым явственно слышно было, немало интриговавшее меня стрекотанье, словно там квартировал целый полк сверчков. Когда мой приятель снял одеяло, я увидел под ним штук 50 хронометров, большая часть которых шла в ногу, как рота пехотных солдат на плацу.

Но в результате трехчасового осмотра и объяснения, я остался все-таки недоволен, ибо приятель мой, по какому-то странному,

как казалось мне, опущению, не дал себе труда показать мне самое для меня интересное, — а я молчал из вежливости, воображая, что он бережет это самое интересное, как эффект, для конца; и только когда осмотр был уже явно кончен, я не без некоторого укора решился его спросить:

— А звезды-то, Александр Иваныч?

— Звезды? — отвечал он, с оскорбительным равнодушием. — Да разве они у нас тут спрятаны? Звезды вы можете видеть из окон вашей квартиры.

— Но в ваши сильные телескопы?..

— Вы не увидите ничего любопытного. Свет, без сомнения, концентрирован и звезды, которых вы простыми глазами совсем не увидите, или едва разглядите, видны в них явственно; но ни в какой телескоп, ни у одной звезды даже первой величины, вы не увидите диска, т. е. определенного светового кружка с каким-нибудь измеримым диаметром. А увидите те же, неуловимо малые точки... Простыми глазами смотря, пожалуй даже эффектнее.

— Вот те и на!.. А я думал...

Б\*\* засмеялся:

— Что вы увидите морду Сириуса?..

— Морду — не морду; а все же хоть что-нибудь.

— Да я же вас уверяю, что положительно ничего. Пучок лучей исходящих из центра, — и только.

— Ну, а планеты с их спутниками и кольцами, — и Луна наконец, — Луна?

— С Луною вы опоздали, так как теперь новолуние; а из планет, то немного, что помимо научных целей имеет какой-нибудь интерес, теперь недоступно для наблюдения. Низко над горизонтом и пасмурно, т. е. нет нужной прозрачности в воздухе. Для этого надо сюда приехать в марте, или в ноябре. А впрочем, когда я занят, вы можете быть при мне и посмотреть сколько угодно в свободные инструменты. Сами удостоверитесь.

Я конечно воспользовался предоставленной мне свободой, но после двух-трех вечеров был очень разочарован. «Стоило приезжать за этим!» — думал я про себя; и бросив обсерваторию, шлялся по пулковским высотам, довольствуясь свежим воздухом и красивым



местом. За обедом и чаем, однако, и изредка, когда он имел возможность сопровождать меня на моих прогулках, мы с ним беседовали о высших вопросах мироустройства, затронутых мимоходом астрономами; но все попытки мои добиться от Б\*\* какого-нибудь определенного утверждения на их счет, оставались напрасны.

— Да неужели же, — говорил я, по обыкновению, горячась, — вас вовсе не интересуют такие факты как например громадное время, которое тратит свет, чтобы дойти до нас от некоторых из самых далеких звезд? Ведь если верно, что от иных это время считается тысячелетиями, то ведь это в сущности равносильно полному отрицанию времени.

— Каким образом?

— А вот как. Представьте себе например какое-нибудь мировое событие, случившееся у нас на земле две тысячи лет назад, или около; и представьте себе, что там, где-нибудь на окраинах видимого пространства, до которых свет достигает от нас в такой же период времени, смотрят сюда какие-нибудь живые и мыслящие создания с гораздо более могуще-

ственным зрительным аппаратом и с соответственно более сильными оптическими орудиями, чем наши; смотрят и видят, конечно не то, что здесь делается теперь, а то что происходило две тысячи лет назад.

— Ну-с, представляю; что ж дальше?

— Но при таких условиях они могут видеть... ну скажем, примерно: Христа распятого на кресте.

— Положим; так что ж?

— Как что! Да разве же это не изумительнее всего, что может нас изумлять? Ведь для них, таким образом, это событие будет событием настоящего времени.

— Да, если они, с их усовершенствованным зрительным аппаратом, такие невежи, что не состояниии рассчитать отдаление и понять, что событие представляющееся им в настоящем, в действительности давно прошло.

— Но если они его видят во всей его полноте, если оно происходит на их глазах, то почему же оно для них, во всех существенных отношениях, не настоящее?.. И разве это не опрокидывает вверх дном все наши понятия о времени, как о непреложном...

— Бросьте вы эту фантазмагорию! — перебил с досадой Б\*\*, - если хотите остаться в границах здравого смысла, и поймите, что астрономии нет никакого дела до этого рода метафизических кувыркков на воздухе! Сколько бы раз вы ни перекувырнулись сами вокруг себя, вы все-таки кончите тем, что упадете ногами на землю. Да хорошо еще если ногами, а то, не дай Бог, треснетесь как-нибудь головой!.. Это не астрономия, а шутихи, брошенные наукой, под пьяную руку, в толпу.

— Зачем вы прячетесь за науку? — возразил я запальчиво. — Выйдите, сделайте милость, хоть раз из-за ее ретраншаментов! [1] Я спрашиваю вас наконец не как ученого, а просто как человека с душой... Оставим время; скажите просто и коротко: неужели вам все равно: есть ли где-нибудь, кроме нашей планеты, живые, мыслящие и любящие создания, — или вне этого маленького мирка все пусто?

— Решительно все равно. Я просто считаю вздором эту возню с вопросами, к разрешению которых мы не имеем данных.

— Но мы имеем однако же вероятия.

— Да, пожалуй, только они не приводят все-таки ни к чему. Почему мы знаем в каких условиях там, где-нибудь, неизвестно где, существуют какие-нибудь такие, или совсем не такие, — ну скажем для краткости — люди? Если они и есть, то по всей вероятности они так непохожи на нас, что я не могу составить себе о них никакого понятия.

— Ну вот, я вас и поймал! — воскликнул я торжествуя. — Если вы раз допускаете вероятия, то я вас спрошу: разве правдоподобно, чтобы условия человеческого существования, везде и всегда без изъятия, были вполне несхожи? Насколько мы знаем, напротив, все говорит до сих пор в пользу сходства... Спектральный анализ...

— Оставьте спектральный анализ! — гаркнул он топнув ногой. — Терпеть не могу этих заигрываний с наукой, и прочее.

Споры у нас доходили не раз до того, что мы начинали в вежливой форме ругаться. Но дело кончалось обыкновенно какой-нибудь шуткой, отпущенной Б\*\*, которая заставляла нас покатиться со смеху.

В одну из моих уединенных прогулок я был недалеко от здания главной обсерватории, когда внимание мое остановил на себе какой-то рослый и изжелта-смуглый мужчина, лет под сорок, с посохом и с котомкой через плечо. Он был очень скромно одет, но фигура его бросалась в глаза чужеземным костюмом и типом лица. «Где-то я видел такое лицо?» — думал я вглядываясь. Он тоже смотрел на меня по-видимому равнодушно и, поравнявшись, коснулся рукою своей широкополой шляпы.

— Не нужно ли, господин капитан, чего-нибудь из моего товара? Лорнеты, очки, бинокли, монокли, лупы, подзорные трубы, — заговорил он по-русски, с каким-то совсем незнакомым, странным акцентом.

— Трубы? — переспросил я, несколько удивленный таким предметом бродячей торговли.

— Хорошие, очень хорошие, редкие трубы! Der gnädige Herr spricht Deutsch?[2] — и получив ответ, он бегло заговорил по-немецки, но

тоже с каким-то своеобразным произношением.

— Мои инструменты не велики, но вы увидите в них кое-что, чего вы наверное не видали здесь, даже в самые сильные телескопы. Полюбопытствуйте, господин капитан, посмотрите.

— Не надо, — отвечал я, махнув рукой, и прошел.

— Первый раз в жизни видел разносчика с подозрными трубами, — сказал я за завтраком Б\*\*. — Неужели у него покупает их кто-нибудь?

— Нет, — отвечал равнодушно Б\*\*. — Настоящий его товар очки, — понятно дешевые. Покупают в немецких колониях, которых тут, по большой дороге, много. А трубы только для важности. Я их видел. Старая дрянь, которая может быть и годилась еще на что-нибудь в начале прошлого века, а в настоящее время гроша не стоит... Надо, однако сказать, чтоб его турнули отсюда, потому что за этим народом некому тут смотреть. Пожалуй, стянет что-нибудь... У нас тут бывали случаи...

— Вы не глядели, однако, в его инструмен-

ты?

Он только пожал плечами.

Дня два после этого, в ясную, звездную ночь, я сидел, погруженный в мысли, на краю довольно крутого спуска, и в голове у меня бродил один из тех интересных вопросов, к которым Б\*\* относился с таким высокомерным пренебрежением. «Как все старо! — думал я, — и как незыблемо, вечно! Один только я, если верить ходячим воззрениям, тут пришелец и гость, — со вчерашнего дня! Но если правда, что я так нов и что меня до моего рождения вовсе не было, то отчего все существо мое так упорно отказывается поверить этому, кажется столь простому, факту? И отчего это начало жизни, если оно действительно было началом, не дало мне ничего такого, что можно бы было назвать сознательно незнакомым? Весь умственный рост мой, все первые впечатления, все развитие — были по-видимому не больше как припоминание. А между тем есть все-таки нечто, что я не в силах припомнить...»

Легкий шорох вывел меня из размышления. Я оглянулся и вдруг заметил, что я не

один. В трех шагах от меня, на поваленном пне, сидел разносчик. В потемках нельзя было хорошо разглядеть лица, но, не взирая на то, я сразу его узнал.

— Как это вам удалось подойти так неслышно? — спросил я дивясь.

— Вы были углублены в ваши мысли, Herr Capitain, — и не заметили, что я давно уже тут.

— Однако ведь вы недаром уселись возле? Чего вам нужно?

— Очень немного. Давеча, когда я вас встретил, мне показалось, что вы нездешний, и я желал бы прежде всего удостовериться: прав ли я в этой догадке.

Я отвечал утвердительно.

— Естественно, стало быть, предположить, что вас привела сюда любознательность?

— Да, мне хотелось видеть обсерваторию.

— И конечно еще что-нибудь? Я разумею объект той науки, для целей которой она существует.

(«Что за черт! — думал я. — Он кажется не мужик?»)

— Опять-таки да; но зачем вы все это спра-



шиваете?

— Так; я уверен, что gnädige Herr остался не удовлетворен тем, что он видел.

— Верно, только вот видите ли, господин, как вас зовут?

— Ширям, — или проще: Ширм.

— Господин Ширм, вы мне не отвечали еще на мой вопрос: чего вам нужно?

— А вот я именно и веду к тому. Мне хочется показать вам то, что для вас существенно интересно, и чего вы не видели здесь, да может быть и нигде не увидите.

— А дальше?

— Дальше, я бы желал убедить вас, господин капитан, что инструменты мои гораздо лучше всех здешних.

Я усмехнулся.

— Почему же вы это думаете? Вы разве глядели в здешние?

— Нет, но глядел в другие, не хуже здешних.

— Но вы не астроном. Что же вас заставляет думать, что вы в состоянии оценить достоинство астрономических и инструментов?

— Долго вам объяснять, а гораздо короче

вот инструмент (он вынул из сумки весьма небольшого размера, подержанную зрительную трубу и приладил ее): удостоверьтесь. Ночь, небо ясно и возле нет ни души, никто нам не помешает.

— «Нам», говорите вы?

— Да, потому что без моего содействия вы не много увидите. Нужна известная подготовка глаза, чтобы пробудить из обычного оцепенения его зрительную способность; но это очень простое, несложное дело, требующее от вас только маленького терпения. Впрочем, если вы опасаетесь...

— Нет; только я должен знать приблизительно, в чем состоит ваше фокусничество. Потому что ведь это фокусничество?

— Gnädiger Herr! Вы меня обижаете.

— Ну да уж там как угодно. Извольте объяснить, что вы желаете со мной делать, или оставьте меня в покое.

— Да ничего же, совсем ничего особенного! — уверял он вкрадчивым голосом. — Просто вы сядете поспокойнее, так чтобы неудобство позы не развлекало внимания и не заставляло вас во время опыта переменять по-

ложение; а я буду поддерживать инструмент, чтобы руки ваши не уставали — вот так... (Он обнял меня за плеча и приставил к глазам моим свою зрительную трубу). Направьте сами куда угодно.

Я стал наводить инструмент на одну из звезд в хвосте Большой Медведицы; но прежде чем я успел это сделать, Ширм влез.

— Позвольте мне вас поправить, — сказал он с какою-то странной усмешкой. — То, что вы выбрали, хотя и весьма любопытно, но слишком для вас незнакомо и потому не настолько понятно, чтобы представить живой интерес. Смотрите сюда, правее, — еще немного, — еще... вот так. И теперь займитесь спокойно, без мысли о чем-нибудь постороннем, тем что вы видите.

Я последовал его приглашению; но то что я увидал не имело в себе ничего особенного. Эта была простая звезда, на взгляд ничем не отличающаяся от тысячи ей подобных, и так как думать о ней было нечего, то я ничего и не думал.

— Имейте терпение, — продолжал он, — и

не волнуйтесь; старайтесь сидеть спокойно, как можно спокойнее.

Прошло минут пять и в продолжение этого времени я действительно ни о чем не думал, не беспокоился, не желал даже ничего, приходя постепенно, как маятник, который перестает качаться, в инертное равновесие. Нечто подобное мы испытываем, когда долго длившаяся и требующая усиленного внимания работа мускулов кончена и все разом, нравственно и физически, в нас отдыхает. Вместе с тем я стал чувствовать какую-то странную связь с предметом моего наблюдения. Звезда как бы вглядывалась в меня, и лучи ее, проникая глубоко внутрь, грели все существо мое. По нервам распространялось что-то ласкающее, словно любящая рука убаюкивала меня на сон грядущий.

— Звезда увеличивается в объеме, не правда ли? — услышал я на ухо вкрадчивый шепот, и это действительно было так. — Смотрите! Растет, не правда ли? Быстро растет?!. Какое великолепие!

— Да, — отвечал я в экстазе, любуясь очаровательным зрелищем. И в самом деле, я ви-

дел уже кое-что, по размеру и силе света похожее на небольшого диаметра солнечный диск. Но видение продолжало расти, и впечатление, производимое им на меня, скоро стало так сильно, что вся реальная обстановка этой минуты была для меня бесследно потеряна.

— Ну, капитан, — сказал Ширм, — теперь держись! Потому что мы едем быстро! У-у! Как быстро!

Едва он выговорил эти слова, как я потерял чувство тяжести, привязывавшее меня к земле: но ничего похожего на стремительное движение не заменило его... Ощущение было напротив совсем такое, как если бы я оставался в покое, а быстро растущий в диаметре солнечный диск летел мне навстречу. Помню минуту, когда его по размеру можно было принять за наше солнце; потом он стал больше и свет его ослепительнее... потом перестал расти и одновременно я заметил, что он как будто бы уклоняется в сторону. Вместо него, навстречу нам приближался с страшною быстротою бледный серп какой-то, ранее не замеченной мною сферы, имевшей вид меся-

ца на рассвете. Судя по слабому свету и по тому как быстро он увеличивался в размере, можно уж было понять, что это планета, и что не солнце ее, а она сама — наша цель. Скоро она заняла полнеба и заслонила от нас свое солнце; потом заслонила все; но наступившая на ней ночь не позволяла мне разглядеть ничего на ее поверхности. Мы были уж в сфере ее притяжения и, судя по всему, очень близко, когда я вдруг услышал: «Держись!..» Толчок, и мы опустились во что-то мягкое, наполнявшее воздух кругом неизвестным, но упоительным ароматом. То, в чем мы очутились, похоже было на очень густую траву, но такого роста, что она скрыла нас в чаще своих стеблей как в лесу. Едва оправясь от сотрясения, я пытался встать, чтоб взглянуть на растительность нас окружавшую; но в ней было так темно, что глаза мои не могли ничего различить. К тому же ее наркотический запах был так силен, что голова у меня ослабла. Я пошатнулся, упал и, минутой спустя, потерял сознание.

Когда я очнулся, был уже день и новое солнце сияло на новом небе. Ширм был возле меня. Потом я узнал, что он вынес меня из травы; но в ту пору мне было не до него. Все окружавшее нас казалось так ново, что мне не верилось, чтобы это могло происходить наяву... Мы были под сенью высокого дерева, которое удивило меня своим ростом и незнакомой формой; но я не успел хорошо рассмотреть его, потому что толпа, окружавшая нас, поглощала мое внимание. По наружности она близко напоминала людей, но какой-то особенной и невиданной на земле породы, которая поражала ростом, здоровьем и красотой. Тут были мужчины и женщины, — дети и бодрые пожилые люди; и все они были очень изящно, нарядно одеты, — на лицах у всех, сквозь любопытство, которое мы возбуждали, светилось ясное наслаждение жизнью и довольство своей судьбой. Группы этих живых существ стояли, однако, поодаль, а непосредственно возле нас и в живом объяснении с моим спутником я заметил несколь-

ко некрасивых и как-то безвкусно одетых фигур, очевидно другого племени. Тип его, вообще говоря, был непригляден, но он носил на себе печать энергии и высокого интеллектуального превосходства. Сухие и мускулистые формы, властный, самоуверенный взор и оттенок чего-то хищного, что просвечивало сквозь царственное спокойствие, с которым они оглядывали порой окружавшую их, на почтительном расстоянии, многочисленную толпу, все выделяло их из ее среды.

К спутнику моему они относились очень внимательно, считая нас — как оказалось потом — за приезжих из чужих краев, и с любопытством расспрашивали его о чем-то на незнакомом мне языке.

— Как это вы объясняетесь так легко! — спросил я, дивясь, и услышал в ответ, что он тут уж не в первый раз.

Нас приняли как почетных гостей и дали нам провожатых в город: но мне было все равно куда, потому что я жил всем существом своим в настоящем и был упоен его яркими впечатлениями... Темно-лиловое, с тонкой прозрачной синевою, небо зияло бездонною



глубиной, и в глубине этой солнце катилось явственно обрисованным матовым шаром такой ослепительной белизны, о которой я до сих пор и понятия не имел. Залитые его лучами, с одной стороны расстилались поля, с другой — дорога вилась по скалистому гребню оврага и несколько далее уходила в лес. Внизу, по каменистому ложу, звучно гремел поток, местами, где скалы теснили его, — одетый, как дымкою, облаком серебристой пыли, в которой солнечные лучи играли радугою. На завороте пути, из-за рощи пирамидальных деревьев, мелькнули каменные постройки богатого хутора; и тут же, недалеко от него, мы встретили небольшую толпу людей, идущих на полевые работы. Две смуглые, рослые, сильные молодые женщины очаровательной красоты шли впереди и пели, а хор мужчин им подтягивал. Песнь их звучала беспечной, младенческой простотой и не было в ней ни единой нотки той надрывающей душу тоски, которая отличает нашу родную, русскую песнь... За ними бежал вприпрыжку какой-то косматый, страшного вида и роста зверь, который, увидев нас, кинулся прямо ко мне. Я

отскочил в испуге, но Ширм успокоил меня, объяснив, что это простая собака, которая провожает людей, и что они здесь очень смиренны. Зверь был однако таких размеров, что мудрено было оставаться спокойным пока он вертелся возле, обнюхивая то одного, то другого в упор, и совал свою страшную морду нам прямо в лицо. Поэтому, не взирая на все любопытство, которое он возбуждал во мне, я, признаюсь, был рад, когда один из наших проводников, атлет, махнув на него хлыстом, отогнал его. На хутор дано уже было знать, и навстречу нам вывели верховых лошадей; но они так непохожи были на наших и выглядели такими дьяволами, что я не сразу решился сесть.

До города было верст двадцать и мы проехали их почти сплошь дремучим лесом, где под шатром высоко над головою переплетенных ветвей, было темно и таинственно. Тысячелетние великаны, в кудрявых, развесистых шапках, глядели на нас с недостигаемой высоты, вздымая, как бы с удивлением и укором, к небу свои могучие, сучковатые руки. Их листва переливала из медно-красного в брон-

зовый, и из темно-зеленого с яркими золотыми просветами в пепельно-сизый цвет. Москиты величиною с осу и мухи ростом в волошский орех, жужжали вокруг бесчисленными роями. Большие птицы, невиданной формы, хлопая крыльями, поднимались из чащи и долго парили над головой. Лес полон был жизни, и множество самых разнообразных, звонко-певучих или крикливых, стонущих, лающих, дико хохочущих голосов, перекликались в нем издали, но особенно странное впечатление делал хохот, который мы беспрестанно слышали прямо у нас над головой. Это был бешеный, зверский хохот, и часто, когда он звучал, в ветвях светились зеленым огнем глаза, мелькали, оскалив зубы, какие-то черти, которые словно как бы издевались над нами... Свист, гиканье; изредка в лошадей попадали шишки и сучья, брошенные с невероятною силой. Дикие звери перебежали дорогу, пугая коней, но большая часть, мелькнув далеко впереди, исчезали так быстро, что мы не успевали их разглядеть. Раз только мне это удалось, но впечатление было такого рода, что кровь у меня застыла. Из ча-

щи, где-то высоко раздался пронзительный свист и следом за ним тяжелое хлопанье. Я поднял голову и увидел что-то похожее издали на огромную хищную птицу, которая медленно опустилась и села, с невероятною дерзостью, прямо у нас на пути. Но это была не птица, а что-то чудовищное, что наводило на душу суеверный страх. Туловище у этой твари было с змеиным хвостом и сверкало зеленовато-серою чешуею; крылья в размахе более двух саженьей, суставчатые и перепончатые как у летучей мыши; глаза горели злоецим красным огнем; змеиный, раздвоенный вилкою на конце язык, извиваясь как плеть, высывался из темно-багровой пасти, вооруженной двумя рядами острых зубов...

— Дракон! — шепнул я в ужасе Ширму.

— Нет, птеродактиль, — отвечал он, бодрясь; но лицо его было бледно и губы тряслись.

Лошади остановились как вкопанные, храпя и прядя ушами; проводники тоже струсили, как потом объяснилось, считая такую встречу дурною приметой. Бог знает чем это могло бы кончиться, если б на помощь нам не

подоспели невидимые союзники. Высоко  
вверху раздался дьявольский хохот, сопро-  
вождаемый треском ломающихся ветвей, и  
мгновенно чудовище было осыпано градом  
метких швырков. Большие орехи, палки, дре-  
весные шишки и камни летели в него со всех  
сторон. В ярости, о которой можно было су-  
дить по тому как крутился, щелкая по полу,  
его мощный хвост, — оно испустило змеиный  
шип и, хлопая крыльями, поднялось. Немед-  
ленно вслед за тем, в ветвях началась ка-  
кая-то адская кутерьма. До нас долетали  
страшные крики и хлопанье крыльев, рев,  
треск ломающихся ветвей, вопли отчаяния и  
скрежет зубов... Там, очевидно, происходила  
драка; но мы не дождались ее конца и через  
час после этого, на упаренных, взмыленных  
лошадях, прискакали в город.

С первого взгляда он удивил меня варвар-  
ской роскошью и причудливым стилем архи-  
тектуры. Кривые улицы в гору и под гору, пе-  
рекинуты были на арках через другие улицы.  
Площади вымощенные мозаикой, висячие  
между зданиями сады; плоские крыши домов,  
устланные коврами и укрытые под цветными

шелковыми навесами; стены, одетые пестрыми изразцами; легкие кружевные мостики, золотые верхи и шпили дворцов, купола храмов, высокие башни, узорные галереи, — все словно рассказывало нам о себе волшебные сказки... Но стоило осмотреться внимательнее, чтобы заметить везде следы высокой цивилизации... Книжные магазины, фабрики (за городом нам указали пороховой завод), пар, электричество, памятники, театры, музеи...

Я наконец был сыт до одури яркими впечатлениями и желал от них отдохнуть. Ширм тоже зевал. После короткой прогулки в городе, нас привели в великолепное здание, которое можно было принять за дворец (это была гостиница), и сдали на руки многочисленных слуг. Последние были все, без изъятия, из красивой и рослой, но видимо подчиненной расы, и их услужливость, добродушие, предупредительная внимательность, с которой они угадывали нередко по взгляду наши желания, заставили меня сразу их полюбить.

После обеда, во время которого нас угощали вкусными, но для меня незнакомыми,

блюдами, мы улеглись на кровле, на мягких коврах, и я глубоко задумался. Масса испытанных впечатлений давила меня своим похожим на сон, хаотическим беспорядком и я инстинктивно старался найти между ними какую-нибудь руководящую нить, — старался припомнить с чего это началось; но, странным образом, дальше того момента, когда я проснулся в поле под деревом и увидел вокруг себя толпу неизвестных людей, все было одето густым туманом. Чудилось, что я жил где-то раньше, смутно припоминались образы, формы, бессвязные речи, оборванные лоскутья мыслей, — идеи без почвы, понятия без реального содержания, заботы о чем-то, что ускользнуло из головы, — и только... Память похожа была на складочный магазин, в котором вдруг потушили огонь, — бродишь в потемках, ощупью, и не можешь найти ничего!..

— Да объясните же мне наконец, — сказал я Ширму, — как мы попали сюда?

— Herr Capitain, — отвечал он спокойно, — вы увлекаетесь вашей фантазией. Смею уверить вас, что вы никуда не попали, куда человеку не следует и нельзя попадать; а находи-

тес там же где прежде и только усматриваете нечто такое, чего не имели случая ранее усмотреть. Вам любопытно было увидеть другие миры, ну я и дал вам возможность удовлетворить эту почтенную любознательность. Вы видите другой мир, и если видение это так ярко, что память ваша на время омрачена, то это уже не моя вина. В сущности ведь вся жизнь человеческая, взятая в целом, не более как видение, которое, в силу своей особенности и яркости, заставляет нас забывать другие, предшествовавшие, и истинный смысл которого, именно вследствие этой оборванности, непостижим... С чего это все для нас началось и что было ранее?.. Кто возьмет на себя отвечать на такие вопросы, если мы сами забыли наше прошедшее?..

Солнце садилось и в воздухе веяло тихой вечерней прохладой. Зеленый шатер надомной шелестел, струимый его дыханием... Невдалеке горели узорные, золотые верхи какого-то здания и из цветников висячего сада гостиницы доносилось благоухание...

Я слушал его как во сне и значение речи его для меня оставалось темно.



— Я вас не понимаю, Ширм, — сказал я. — Оставим, пожалуй, этот мудреный вопрос о начале, если он вас затрудняет. Пусть будет видение. Объясните по крайней мере хоть смысл того, что я вижу и видел с утра. Скажите мне, например, что это были за люди, с которыми вы объяснялись там, в поле, под деревом, и которые дали нам провожатых сюда?.. Я видел и здесь похожих; но здесь, как и там, они не смешиваются с толпой, а напротив, распоряжаются и командуют... Что это: уж не полиция ли?

— Ой, нет! — отвечал он смеясь. — Какая полиция!.. Это Ванзы, могущественная и просвещенная раса, которая завладела давно планетой.

Вопрос что за планета и каким образом мы очутились на ней — не занимал меня больше... Я чувствовал себя как во сне...

— Но каким образом, — спросил я, — эта другая, гораздо более благородная и красивая раса, с таким прекрасно развитым, здоровым и рослым типом, могла очутиться под властью у столь бедного и сравнительно плохо развитого племени?

— Бедного? — возразил он. — Подождите; вы не видали еще в каком комфорте и как богато они тут живут! Вы судите по одежде; но даже и самая их одежда, при всем отсутствии в ней щегольства, гораздо удобнее и стоит вдесятеро дороже. А что до развития, то весь хитрый строй их жизни и все бесчисленные ее удобства, достоинства, созданы исключительно Ванзами. Подвластное племя Леев обязано им не только глубоким миром и всем довольством, в котором оно живет, но и тем ясным, здоровым, облагороженным типом, который вас так подкупил... Слушайте, я объясню вам, как это все сложилось...

И он рассказал мне следующее:

В древние времена планета эта, значительно превышающая объемом Землю (имя ее по-здешнему «Ванзаме», а по-нашему будет «Ванзамия») — населена была множеством различных рас, очень немногие из которых имели свою полуварварскую культуру. Последняя понемногу однако росла — или старилась, выдвигая вперед то ту, то другую народность и в вихре кровавых войн создавая или разрушая

обширные царства. В истории их раса ванзов выступила на сцену сравнительно уже в поздние времена; но поставленная на первых шагах своих в чрезвычайно благоприятные географические и политические условия, она быстро выросла и осилила понемногу всех своих конкурентов. Три тысячи лет назад, планета, с ничтожными исключениями, принадлежала уж в сущности ей и с тех пор началось мировое ее господство. Первым его историческим результатом было исчезновение множества разнообразных и частью полудиких племен, которые слились в одну, безразличную массу подвластного племени, или стерты были с лица планеты борьбою за существование. Но ванзы был гордый народ и с ранних времен своего возрастания, вплоть до того знаменательного момента, когда, поглотив и переработав в себе все высокоразвитые, родственные им племена, они остались одни, лицом к лицу с лями (т. е. как самое имя на то намекает, с «помесью») — они тщательно избегали всякого рода смешения с ними, считая их низшею расою и питая к ним самое искреннее презрение.

Дальнейший их путь однако же был не гладок и много опасных кризисов вытерпел этот народ на поприще внутреннего его, гражданского, политического и социально-экономического устройства с того отдаленного времени, когда он стал владыкою мира. Все потрясения были, однако же, пережиты им счастливо, и неслыханные дотоле богатство, наука, промышленность, с их бесчисленными открытиями и применениями, дали им наконец возможность так далеко опередить все остальное, подвластное им население, что три тысячи лет назад, между ними и леями того времени, трудно было представить себе какое-нибудь доисторическое родство, да они и сами в принципе не признавали его.

Тогда, побуждаемые филантропическими и хозяйственными мотивами, ванзы взялись за умственное развитие и усовершенствование породы леев. С первою целью заведено было повсеместно множество профессиональных школ и промышленно-художественных музеев. За дело взялись энергически и оно пошло так успешно, что через десяток, другой

поколений, на всей планете не оставалось уже ни одного безграмотного и не обученного основательно какому-нибудь искусству или ремеслу — существа. Другая задача была гораздо труднее и дело ее осуществления длилось две тысячи лет; но ванзы одарены непреклонной настойчивостью и никакие препятствия не могли их серьезно остановить.

Ванзов было на всей планете не больше двухсот миллионов, тогда как численность леев в ту пору считалась миллиардами и превосходила их больше чем в тридцать раз. Но власть и нравственное влияние первых не знали границ и они ими воспользовались без колебаний.

Главные меры для улучшения племени были очень просты. Все слабые и больные или безобразные дети, благодаря попечениям санитарного ведомства, не жили, и никто не видел тут ничего дурного. Мало того, даже сами родители, пожалев немного о неудаче, были в итоге довольны, видя себя избавленными от самой горькой и обременительной из всех житейских забот. Но это не все. Чтобы избавиться от одной из самых обыкновенных

помех к улучшению расы, то есть от примеси к ней слабосильного потомства старых и истощенных родителей, — не затрудняя себя и не оскорбляя последних всегда ненавистным в подобного рода вещах полицейским надзором, введен был обычай, давно уже освященный религией и в настоящее время не возмущающий никого. Обычай этот обязывал всякого, без различия пола, Лея, достигнув известного, тщательно проверяемого жрецами возраста, явиться раз в год к духовной особе, заведующей этого рода метрикой, выдержать медицинский осмотр и получить отсрочку по существу, а по форме свидетельство, что Бог покуда еще не требует своего раба к себе. Если такой отсрочки не дано и он получил в ответ, что высшая мудрость решила иначе, то он уходит, понятно повесив голову, но безропотно; собирает свою семью и друзей на прощальный пир, и в конце его пьет за здоровье им покидаемых кубок вина [3] поднесенный (ему или ей) председательствующим жрецом; после чего засыпает спокойным, но, разумеется, непробудным, сном, — и на другой день утром его хоронят... От этого вы не увидите

здесь, у леев, ни дряхлого, потерявшего память и ум старика, ни разрушающейся старухи. Хотя между ними немало и пожилых, но все они бодры, и не утратили ничего из умственных и физических сил.

— Ну, а у ванзов? — спросил я.

— У ванзов нет ничего подобного, и они сочли бы за оскорбление, если бы кто-нибудь предложил ввести между ними такие порядки. Только они за это и платятся. Дряхлая старость, с ее бесчисленными недугами, и некрасивый, сравнительно малосильный и малорослый тип, который за три тысячи лет очень немного выиграл — здоровье, с детства подточенное наследственными болезнями, а позже всякого рода излишествами и нервным переутомлением, все заставляет их смотреть до известной степени с завистью на леев, в физическом отношении уже давно и далеко опередивших своих господ. Но за последними остается высокая степень энергии, до которой во веки веков не дойти их подданным, и все те интеллектуальные преимущества, которые достигаются самосозданным, высшим образованием. За ними же наконец и свобода лич-

ной инициативы с сознанием собственного достоинства расы, которая всем обязана только себе самой... Экономический быт своих подданных они устроили мастерски: но дело это значительно было облегчено для них тем, что прирост населения между леями мог быть легко регулируем. Число последних, с тех пор как в их семейной жизни введены все эти санитарные ограничения, значительно убывло, сила же остающихся, т. е. рабочая сила, вследствие улучшения расы и рациональной системы хозяйства, в такой же прогрессии выросла. Остальное легко себе объяснить прекрасным климатом этой планеты и плодородием ее почвы. Давно уже леи не знают нужды и горьких забот, с нею связанных, а физический труд их неустомителен. О напряжении мысли у расы, которая никогда не гонялась за высшим образованием, не занята правительственными заботами и свободна от страха за будущее, не стоит и говорить. Понятно, что при таких условиях, из них выработался счастливый, беспечный, веселый народ. Они поют за работой, поют за столом, а как только солнце село, везде начинаются



шумные игры и пляска... Но есть конечно и темные стороны. Женщины их так прелестны, что между ванзами, невзирая на всю неприступную племенную их спесь, встречаются очень нередко донжуаны, смущающие семейный покой своих подданных. Подобного рода грехи, правда строго преследуются у них общественным мнением и законом, неумолимым к естественным их последствиям, но пресечь их вполне нет никакой возможности, и это одна из немногих, случайных причин недовольствия подданных против их производителей господ. Другая, не менее темная, но отнюдь уже не случайная сторона, — это страх смерти, который у леев, в известную пору жизни, очень силен. Приближаясь к предельному возрасту, после которого начинается для них отпуск на срок, они становятся озабочены, молчаливы и более не поют...

Всякого рода власть и все выгоды с нею связанные, с незапамятных пор в руках у ванзов. Все сколько-нибудь влиятельные, судебные, полицейские и другие гражданские должности заняты ими, а войско, которое, впрочем, давно уже перестало быть постоян-

ным, и одни только кадры которого существуют из предосторожности, целиком состоит из них. Вознаграждение за все это больше чем щедрое, а так как, с другой стороны, вся поземельная собственность, оптовая торговля, дороги, фабрики, горные и другие важнейшие промысла, тоже в руках у ванзов, то в сумме это дает, даже самым бедным из них, возможность вести поистине царскую жизнь. Политическое устройство этих господ между собою — чисто республиканское, и никаких значительных потрясений в сфере его давно уже не запомнят. Войн, за исключением мелких, сепаратистских смут и столкновений между самими ванзами (очень ревниво отстаивающими свои земские, провинциальные и другие особенные права от узурпаций центральной власти), не было уже что-то около двух тысяч лет, и это счастливое, в сущности, обстоятельство грозило бы некоторым упадком энергии в правящей расе, если бы ванзы не были страстно преданы всякого рода забавам и состязаниям, связанным с какою-нибудь личной опасностью. У них существуют целые области, величиной с первокласно-ев-

ропейское государство, незаселенные и поддерживаемые в их первобытном виде нарочно, чтобы сберечь в них породы хищных зверей, и всякого рода охота — их племенная, барская привилегия. Леям запрещено не только употребление, но и хранение на дому огнестрельного оружия и они участвуют в больших охотах только в роли загонщиков...

И посмотрев на меня значительно, он замолчал.

— Какой безнравственный мир! — сказал я в негодовании.

— Вы слишком строги и поспешны в ваших суждениях, капитан, — отвечал он с лукавой усмешкой. — Оставьте, прошу вас, ваши земные предубеждения и посмотрите на вещи просто. Что в том безнравственного, что люди красивы, здоровы и сыты, не сходят с ума от усиленной мозговой работы, не знают войны, не носят оружия и умирают вовремя? Все это вместе — большое счастье, и если оно, как все человеческое, — несовершенно, то надо же быть справедливым и согласиться, что в сумме, лей за него платят дешево.

— Не лицемерьте, Ширм! — возразил я за-

пальчиво. — Вы сами, не хуже меня, понимаете, что этот их отпуск на срок, который кончается смертною казнию по усмотрению санитарного ведомства, это — рабство, и самое возмутительное из всех. Это хуже чем умереть по прихоти варварского царька или быть затравленным на потеху развратной толпы, потому что то просто бесчеловечно, а это бесчеловечно с притворством и делается под вывеской филантропии... Это такая мерзость!..

— Напрасно вы так горячитесь, — перебил Ширм спокойно. — Вам это кажется так черно, потому что вы смотрите с сентиментальной точки зрения, — а вы посмотрите просто. Все люди смертны и они этим не обижаются, потому что считают это, как все неотвратимое, Божьей волей. Ну, леи именно так и смотрят на это установление, отнюдь не допуская, чтобы оно могло быть делом простой, человеческой, хотя и высокоразумной предусмотримости. Обиды, стало быть, нет, а что касается до разумности, то вы, как человек просвещенный, надеюсь, не будете против этого спорить. Скажите по совести: разве не

лучше умереть ранее, чем дойдешь до того состояния, когда человек становится в тягость себе и другим?

— Все это было бы ладно, Ширм, — сказал я, обезоруженный его хладнокровием, — если бы вы не вставили тут одного словца. Зачем вы сказали, что этого рода смерть для леев неотвратима? Это неправда, и если они однажды это поймут, то я вам отвечаю, они не будут больше смотреть на это установление как на Божью волю. Они спросят у вас: если действительно это лучше, то почему же вы не желаете этого для себя? И почему им самим не предоставлено судить, когда им пора умирать?

Он посмотрел на меня тревожно и погрозил мне пальцем.

— Тс-ст! — сказал он. — Не говорите здесь никому подобных вещей; потому что иначе — вас живо спровадят из этого мира в лучший, — и будут с их точки зрения правы. Не нравится, мол, тебе у нас, так убирайся от нас: а в чужой монастырь с своим уставом не суйся.

## IV

**М**ы прожили в городе... я затрудняюсь сказать сколько именно, потому что их год не совпадает с нашим, сутки — тоже... короче, в моем исчислении времени оказалась потом ошибка. Собственно говоря, я не чувствовал времени, до того оно там летело быстро; но позже, соображая разные вещи, пришел к убеждению, что оно должно было быть немалое... Только оно не совпадает с нашим... Как описать мои впечатления и все что я пережил, передумал, покуда оно летело?..

Помнится, я обжился в ванзамии очень скоро... Начать с наружности. И у нас там, дома, ее находили странною; здесь же, благодаря влиянию климата, пици или других неизвестных причин, она, в короткое время, так изменилась, что я едва узнавал себя. Я стал так похож на молодого ванза, что в городе, где на первых порах, при встрече со мной, останавливались и провожали меня глазами, теперь никто уже больше не обращал на меня внимания.

Дальше — язык. Он дался мне чрезвычай-

но легко. В невероятно короткое время, я мог объясняться на нем совершенно свободно; даже чужой акцент в произношении скоро исчез. Легкость, с которою я запоминал слова и привыкал к грамматическим формам, была так поразительна, что мне иногда приходили в голову странные мысли. Сдавалось, что это не новый язык, и что я его знал когда-то; многие характерные выражения и обороты речи не было нужды и изучать: они как-то сами напрашивались, словно я их когда-то отлично знал, а теперь стоило только припомнить. И это странное обстоятельство, в связи с не менее странною переменою наружности, счастливо устранило понятное затруднение человека, очутившегося, совсем неожиданно, в незнакомом городе.

— Как же мы будем тут жить... без денег? — спрашивал я, еще на первых порах, у Ширма. — У меня есть с собою кредитками шестьдесят три рубля, но здесь их навряд ли примут.

— Не думайте, я прошу вас, об этом, — отвечал он спокойно, — это само собою устроится.

И действительно, все обошлось очень гладко... Первые две недели нас, как почетных гостей, помещали и угощали даром. Потом, мой спутник как-то однажды вернулся с веселым лицом и на вопрос: «что нового?» — отвечал потирая руки:

— Нашел-таки наконец!.. Милейшие люди!.. Не дали слова выговорить... предложили сами.

Оказалось, что он нашел тут старых знакомых, которые предложили ему займы. Мне это, однако, не очень нравилось.

— Да чем же мы им заплатим? — сказал я.

— Не беспокойтесь: нам обоим обещаны уже места.

И действительно, в самом непродолжительном времени, он получил место бухгалтера в банке, а я — экспедитора в городском почтамте. Но то, что считалось, по-здешнему, незначительно, привело бы у нас в восторг любого директора департамента. Мы имели казенное помещение, отличного повара, многочисленную прислугу и жалованье такого размера, что, с нашими скромными требованиями, не знали на что его издержать, и есте-



ственно стали откладывать.

Мир, в котором нас так гостеприимно приняли, в общих чертах имел много сходства с покинутым. Сначала, конечно, многое из того, что я видел здесь ежедневно: архитектура, обычаи и костюмы, некоторые, неизвестные у нас, изобретения и приспособления, а больше всего образцы туземной флоры и фауны приводили меня в безграничное изумление. Только и тут случилось тоже, что с изучением языка. По мере того, как я замечал и расспрашивал, вглядывался и привыкал, первоначальное впечатление странности притуплялось и мне начинало сдаваться, что все это, якобы новое, — в действительности совсем не так ново, как показалось мне сгоряча. Классы, семейства, роды и виды, при всем наружном отличии их от земных, в сущности были те же. Лошадь их, например, так же мало похожа на нашу, как — скажем — легавая собака на борзую: но, во всех существенных отношениях, это однако же несомненно лошадь, и мне сдавалось даже, что я когда-то ездил на таких. Но я напрасно ломал себе голову, силясь припомнить, где и в каких обстоятель-

ствах я видал все эти формы раньше, — мысли мои терялись в непроходимых потемках.

— Вы, помнится, говорили, что вы живали здесь раньше? — спросил я однажды у Ширма.

— Да, — отвечал он, — не стану таить греха: живал.

Вопрос, каким образом он очутился у нас на земле и оттуда вернулся со мною сюда, был кстати, но странным образом он не приходил мне на ум. Вместо того я спрашивал у себя, дивясь: неужели и я когда-нибудь прежде существовал в Ванзамии? И, если да, то почему я не могу найти в своем сердце ни искры сочувствия ко всему, что тут делается?.. Ограниченность и беспечность счастливых рабов с одной стороны, а с другой, во имя высоких задач милосердия и под маской любви к простому народу, наглое отрицание в нем человеческого достоинства! Но что всего более возмущало меня среди ванзов, это страшное их ханжество и лицемерие. Они словно поставили себе целью надуть не только бесчисленный, им подвластный народ, но и высшее существо, которому они поклоня-

ются. Послушаешь их: они свято чтут добродетель, и вера их в Бога, в заветы и заповеди его неколебима. Чистота нравственности снаружи так щекотлива, что даже малейший намек в разговоре на что-нибудь соблазнительное, возмущает все общество. Но будь доволен наружностью и не заглядывай в глубину души, потому что там — спесь и жадность, грубая чувственность и притворство свили себе гнездо. Они утопают в роскоши и пользуются со стороны народа царским почетом. Литература, искусства, науки, высокие государственные заботы и тихое счастье семейного очага, по собственным их словам, наполняют их жизнь... По счастливы ли они?.. Раз как-то, из любопытства, я заглянул в их статистические отчеты. Двенадцать процентов из этих царей планеты кончают жизнь сумасшествием и девять — самоубийством!.. Красноречивый ответ!

Позже однако же я нашел в их среде молодых и действительно чистых душой энтузиастов, которые тонким сердечным чутьем угадали во мне нечто родственное. Мы сблизились и посещали вместе театры, публичные

лекции, клубы, законодательное собрание...  
Театр особенно...

Раз мы сидели в партере... Это был памятный для меня день, — потом объясню почему, а теперь прибавлю только, что я обязан ему потрясающими открытиями...

Великолепная сцена и целое море зрителей...[4] Шла драма, пользующаяся большой популярностью. Сюжет исторический: падение конституционной монархии в царстве ванзов, совпавшее с их последним шагом к всемирному политическому господству. Эпоха была критическая. Опорой знатных родов и узлом их связи между собою был до сих пор король, и сила его, как вождя могущественного, олигархического союза, была еще велика; но, несмотря на все ее древнее обаяние, действительные бразды правления были уже давно в руках представительного собрания, — органа племенной политики ванзов. Во имя свободы, мира и просвещения, это племя успело уже в ту пору прибрать к рукам все что лежало плохо, и властвовало бесспорно почти на всем пространстве планеты... Остался, однако, сравнительно небольшой уго-

лок, где, они не успели еще стать твердой ногой: это провинция Ларс с ее 50-ти-миллионным, сплошным населением. Ванзы не раз проходили ее из края в край, но старая племенная вражда, тропический климат, бедный, гористый край, и в полудиком народе гордый дух независимости — не позволяли считать это дело конченным. Формально, впрочем, право завоевателей было признано и король имел в Ларсе наместника; но достаточно было малейшей вспышки, чтоб пламя восстания, как и случалось уже не раз, охватило пожаром весь этот несчастный край, и тогда приходилось тушить его в новых потоках крови. Герой этой драмы — прославленный рядом побед наследный принц Унаянге сидит уже два года в Ларсе наместником своего отца и, несмотря на то, что народ видал его столько раз во главе своих заклятых врагов, успел, сердечным участием к побежденным, приобрести его доверие и любовь. Дома, однако, на это смотрят другими глазами. Народная партия далеко не желает, чтобы будущий их монарх, и так уже обожаемый войском, пустил еще сильные корни в этой мятежной

стране. В последнее время особенно ходят упорные слухи, что он, наследник престола, равнодушен к дочери одного из туземных вождей. Столица взволнована и первые сцены рисуют происходящее в ней брожение.

...Бурная сходка. Речи народных ораторов выясняют характер наследного принца и опасность, которою он грозит их планам. Лично они отдают справедливость высоким качествам Унаянге; но именно это-то превосходство его и грозит замедлить надолго давно уже ставший их целью, новый порядок вещей. Такой человек способен вдохнуть обманчивый призрак жизни в дряхлые формы, которые, так или иначе, все же должны наконец отойти на покой. Даже военные дарования принца, излишние, так как период войн приходит к концу, могут легко обратиться во вред государству. Если он раз породнится с аристократией мятежной провинции, Ларс станет гнездом и оплотом для партизанов единовластия. Поэтому принц Унаянге не должен царствовать, и удобный случай, который теперь посылает судьба, не следует упускать, так как он может не повториться... Ко-

гда собрание разошлось, остаются несколько коноводов. Из их совещания ясно, что у них все обдуманно и готово.

После такого пролога, действие переходит в Ларс... Ночь... Няня принцессы Кандамы вводит в ее девичий терем переодетого Уна-янге. В страстных словах он говорит смуглолицей красавице о своей любви и получает в ответ, что ее сердце отдано невозвратно ему; но жизнь принадлежит ее родине, и она не вступит в союз с врагом своего народа. Тогда безумно влюбленный принц, на коленях, дает ей клятву, что никогда рука его не поднимется более против Ларса, который, с тех пор как он любит Вандаму, стал для него второю родиной... Принцесса в его объятиях. Брак их решен и гонец отправлен в столицу: но, вместо благословения, от старого короля Сунанды приходит известие, что умы в народе настроены самым тревожным образом, и что в такую минуту союз наследного принца с девушкой враждебного племени станет наверно сигналом бунта.

«Брось все, — пишет старый король, — и приезжай немедленно, если хочешь предот-

вратить величайшие из несчастий, какие могут постигнуть наш дом...» Но страстно влюбленный принц, хотя до известной степени и покорен воле отца, отнюдь не намерен бросить Кандаму... Он тайно обвенчан с ней и увозит ее в столицу.

Шпионы народной партии успели, однако, опередить его там, и он застает столицу в полном разгаре вспыхнувшего восстания. Приверженцы королевской власти, после упорной битвы, оттеснены и Сунанда заперся с ними в свой укрепленный замок.

Сумерки... С высоты, на которой стоит цитадель, видны здания и огни многолюдного города, — вдали слышны оклики часовых... Унаянге, оставив жену на руках у верных друзей, — под защиту темноты, прокрадывается к своим. С его появлением дух осажденных воскрес и собранная при свете факелов, верная долгу часть королевской гвардии — ликует. Она видала принца не раз, на поле битвы, ведущего ее к верной победе, — и если он тут, то конечно все спасено... Глухою ночью, он делает вылазку... Ряды осаждающих смяты и опрокинуты, и небольшая дружина прокла-



дывает себе кровавый путь. Она уже за городом: но старый король Сунанда опасно ранен и о судьбе Кандамы, бежавшей в свите одной из принцесс королевского дома, пришла печальная весть. Она захвачена на пути и содержится, как залог, в столице, в тюрьме...

\* \* \*

В волнении, я следил за ходом событий на сцене и долго не мог понять, отчего они делают на меня такое глубокое впечатление. «Что это? — спрашивал я себя. — И отчего это так хватает за сердце?..» Я был похож на слепого, которого, после долгих скитаний в чужих краях, судьба привела, неведомо для него самого, к родному дому. Ощупью он нашел его дверь и прислушивается. Знакомые голоса раздаются внутри и будят в нем тысячи старых воспоминаний. Одно за другим — загораются в сердце, его давно угасшие чувства и воскресают милые образы, лица родных и друзей. Но каким образом и когда все это было так близко?.. Жадно, с мучительным нетерпением, прислушивался я к речам актеров, в надежде найти в них ключ к решению этой загадки, как вдруг вопрос повернулся ко мне

лицом и я понял, что он прежде всего идет обо мне самом. Да кто же я наконец, и откуда? С таким вопросом я оглянулся назад, на пробел образовавшийся в моей памяти (как бы нарочно, чтобы дать место ответу), и к удивлению не нашел его... Прошлое оказалось занято теми событиями, которые происходили на сцене, и не было более никакого сомнения, что я принимал в них деятельное участие, был даже центром и главным узлом их связи. Понятно после того, с каким лихорадочным увлечением я следил за развитием драмы. Простой и трогательный ее сюжет, как водится, усложнен был хитросплетенной интригой: но я пропускаю ее, как драматическую прикрасу, не прибавляющую ни йоты к сущности дела, и расскажу только эту последнюю.

\* \* \*

Отец Унаянге умер в походе и войско провозгласило его королем. С другой стороны, столица провозгласила республику, и провинции почти сплошь последовали ее примеру. Образовался союз, который и до сих пор тяготеет еще над Ванзамией. Но молодой король имел на своей стороне могущественную

аристократию и, как он думал в ту пору, надежный оплот в провинции Ларс, с ее полудиким, воинственным населением. Увы! это была роковая ошибка, и понемногу она обнаруживается...

Бурные сцены битв, пожаров и грабежей... Победа и снова победа... Республиканская армия терпит жестокие поражения: и вот, наконец, после, длинного ряда военных успехов, король под стенами столицы. Но сердце его растерзано бедствиями войны, которая тянется без конца, и он понял уже давно, что положение его, несмотря ни на какие победы, в сущности, безнадежно. Ресурсы республиканцев неистощимые, так как, за исключением непосредственного театра военных действий и Ларса, с его неприступной твердынею гор, — весь свет в их руках. За ними — моря, на которых господствует верный им флот, несчетные крепости, пристани, арсеналы, доки; бесчисленные резервы подходят со всех сторон на смену расстроенных сил, и армии их, после каждого поражения, воскресают, в короткое время, с новою силой, всегда отлично вооруженные, сытые, хорошо обученные.

Но с другой стороны не то. Число сторонников короля начинает редеть и их средства истощены. Продовольствие страшно затруднено, ибо весь край, пройденный ими, опустошен варварским образом ведения войны со стороны их полудиких союзников, Ларсов. Цветущие города и села выжжены, имущество мирных граждан истреблено или расхищено, их поля не запаханы, люди обращены во вьючных скотов или вырезаны, не разбирая пола и возраста, — женщины обесщечены, — и ни малейшей возможности вразумить этих варваров, что они сами себе готовят гибель. Не раз Унаянге, теряя терпение, готов был напасть на эту орду и истребить ее, но после этого оставалось бы только идти в республиканский лагерь и сдаться на милость, не говоря о клятве, данной в ту пору, когда он стоял на коленях перед Кандамой, что никогда рука его более не поднимется против ее народа.

Оставался только один исход: взять столицу, и с этим залогом в руках, добиться от неприятеля каких-нибудь сносных условий мира. В чисто военном смысле, дело было воз-

можно, так как город, с тремя миллионами жителей, мудроно защищать. Но он был сам ванз и сердце его содрогалось при мысли, какое море крови пришлось бы пролить, чтобы достигнуть силой подобной цели. Лучшая часть королевской армии легла бы на приступе, а остальную, или, вернее сказать, орду его диких союзников, нечего было и думать остановить, после того так вооруженное сопротивление будет сломлено. Мало того, Кандама была во власти врагов, и через лазутчиков ему был уже сделан намек на то, что ее ожидает в случае, если он вооруженной рукою проникнет в город. Первое, что он там увидит, — мол, будет ее голова.

Но Унаянге молод и предприимчив. Так или иначе, он решился освободить королеву прежде чем предпринять что-нибудь решительное, и в короткое время план его был готов.

В окрестностях города существуют развалины старого монастыря. Древний старик живет в них отшельником, и эта живая руина предана всею душою старым порядкам. Руководимый преданиями, которые он слышал

еще в детстве, король расспрашивает его и узнает, что, действительно, из этого места существовал когда-то подземный ход в другой монастырь, находившийся в древности на горе, в цитадели, и много веков назад обращенный уже в государственную тюрьму... После неоднократных поисков, в монастырском погребе найдена полусгнившая, окованная железом дверь, и за нею ступени, ведущие вниз, в глубокое подземелье. Саперы спускаются в него с фонарем, за ними король, а старик остается настороже... Он упал на колена и молится...

Забытый тюремный подвал в цитадели. Стены и своды осыпались; пол завален крупным тесовым камнем и мусором — сырость и плесень; ясно, что человеческая нога не заходила сюда лет триста... Но вот, под грудой мусора слышен чуть внятный стук; он приближается: что-то осунулось... между камней мелькнул багровый свет фонаря, и освещенная им, видна голова осторожно выглядывающего сапера... Выход расчищен: один за одним из-под земли вылезают несколько человек; в числе их король. Люди бледны и чуть

держатся на ногах: они едва не задохлись от спертого воздуха в подземелье... Подвал освещен... в глубине его видны ступени, — это подъем наверх. Король и за ним, на расстоянии, трое, крадутся и исчезают в потемках... Мертвая тишина и тревожное ожидание... Где-то, далеко вверху, слышен сдавленный взглас испуга, и снова все смолкло... Потом шаги, вверху на лестнице мелькнул свет... Саперы тащат кого-то связанного, с заклепанным ртом. Это тюремщик, схваченный в ту минуту, когда он кончал свой ночной обход... Развязанный, он узнал короля и падает перед ним на колена. Это бывший дворцовый слуга, всею душою преданный королевскому дому... (Следует сцена свидания с заключенной; но о ней после).

На другой день цитадель взята неизвестно откуда проникшим в нее неприятелем, и город, поставленный между двух огней, объят паническим ужасом. Народ мятется на площадях, обвиняя в измене военного коменданта. От думы отправлена депутация к королю с мольбою спасти трехмиллионное население от тех ужасов, которые неизбежны в случае,

если ларсы ворвутся в город. Король отвечает, что против этого приняты уже меры, но что нельзя отвечать за успех, покуда в городе две враждебных силы и две команды. Вследствие этого вывешен белый флаг, и комендант является к королю с предложениями о сдаче. Но в то же время из армии получены ужасающие известия: в лагере ларсов — бунт, лейтенант короля убит, и вся грозная сила варваров, раздраженных тем, что у них, судя по всему преднамеренно, отнимают заслуженную добычу, — рвется на приступ...

Конца я не досмотрел; но он хорошо известен в истории ванзов. Король был убит, защищая город в главе своих и республиканских сил, и эта смерть, доставив конечное торжество республике, положила конец войне. Его похоронили с царскими почестями и над могилой его были сказаны исторические слова:

«Сограждане! — произнес известный республиканский оратор. — Мы хороним сегодня последнего нашего короля. Хотя он и бил нас, а все же, надо отдать ему справедливость, он был хороший король. Но он был еще лучший



гражданин, что он и доказал, забыв обиды, лично ему нанесенные, и отдав свою жизнь за спасение этого города. Скажем же на его могиле единодушно: Вечная память последнему нашему королю и первому гражданину!»

Драма эта, хотя я и чувствовал до малейшей тонкости все места, где автор ее неумышленно отклонился от истины, чуть не свела меня под конец с ума. Слово за словом, и сцена за сценой, я убеждался, что знаю гораздо лучше, чем автор, события, воспроизведенные им в главных чертах довольно верно. «Нет, — подсказывало мне безошибочное чутье, — это было немножко не так; а это хотя и так, но поставлено на ходули; тут пробел и вследствие пробела ложный эффект; а тут, вместо красивых, замысловатых фраз с поэтическими сравнениями, сказаны были коротко простые слова, но они хватали за сердце и заставляли всю кровь бросаться в лицо. Зачем, например, Кандама, в ответ на мое признание, говорит так фразисто, что жизнь ее принадлежит ее родине и т. д., тогда как в действительности она была так смущена, что с

трудом могла говорить, и смотря на меня исподлобья, шепнула только дрожащим голо- сом: «Ионике! (т. е. «голубчик») возьми меня, но не губи больше наших!» И только когда я обнял ее, прибавила уже храбро: «Если еще раз, через тебя, польется тут, в Ларсе, кровь, то я буду знать, что ты лжешь, — не любишь меня»...» Я говорю о себе, потому что я скоро не в состоянии уже был отделить себя от лица, которое действовало на сцене, хотя я и чувствовал, что актер, игравший роль Унаянге, часто совсем не похож на него, так что образ героя драмы все время двоился в моих глазах. Но еще менее мог я признать в театральной, затянутой туго в корсет, Кандаме, ту необузданную дикарку, которая очаровала меня, — я и сам хорошенько не знаю чем. Должно быть тем, что в ней не было ничего похожего на других. Усмешка, взгляд, манера подергивать плечи, когда ей что-нибудь не по нраву, и внезапная жаркая краска в лице, когда ей чем-нибудь угодишь, все было особенное, свое. Она вела себя часто, как дикая кошка, способная выцарапать глаза в минуту негодования, но эта кошка готова была в

огонь и в воду за милого; и ласки ее были так бешены, поцелуи так жгучи, что даже теперь, две тысячи лет спустя, голова у меня идет кругом от одного воспоминания!.. В актрисе, игравшей ее, однако же было нечто, какая-то искра естественного огня, минутами заставлявшая позабыть несходство ее с действительною Кандамой и воскрешавшая в моем сердце образ возлюбленной. В такие минуты я впрочем не видел актрисы: она исчезала куда-то и передо мною была совершенно другая женщина: легкая, гибкая, сильная как молодая пантера, — женщина, которая говорила, глядела, ходила иначе... Сцена, когда я вбежал в ее келью и увидел ее, беднягу, свернувшуюся калачиком на дрянной тюремной постели, бледную, заморенную, жалкую, едва не ослепшую от горючих слез, — когда, заслоняя рукою глаза, она всматривалась, не узнавая, — и вдруг, взвизгнув, кинулась мне на грудь; и минута, когда, захлебываясь от нестерпимой обиды, она рвала свои спутанные на голове, как змеи, черные волосы, проклиная врагов, державших ее взаперти целый год, — сделали то, что я выбежал, как по-

мешанный, из театра и, заливаясь слезами, упал на скамью в публичном саду. «Где она?.. Где?.. — слышал я собственный голос, не узнавая его. — И возможно ли, чтобы я был жив, тогда как кости ее давно истлели в сырой земле?..» И сердце мое стучало больно, стучало так, что я удивлялся, как оно еще цело в груди... Перед глазами носились тысячи старых, знакомых сцен: битвы, пожары, приступы...

Народ валил из театра толпой...

— Янге! Что ты тут делаешь? — услышал я знакомый голос. — Мы понять не могли куда ты исчез... Пойдем...

Смотрю: кто-то взял меня под руку. Это был один из тех молодых энтузиастов, о которых я раньше упоминал, и он увел меня к себе ужинать.

Свежий воздух, прогулка, и бойкий, живой разговор понемногу вернули меня к сознанию настоящего; но я отвечал рассеянно, или совсем невпопад, что заставляло его иногда останавливаться и хохотать.

— Унаянге! Да что с тобой? Ты точно еще не очнулся от катастрофы, постигшей тебя на приступе.

Только тогда я хватился, что имя, которым он называл меня, стало уже давно, в кругу близких людей, моей кличкой; но до сих пор я на это не обращал внимания, объясняя себе эту странность одною из тех ребяческих, чисто случайных фантазий, которые наделяют нас в школе разными прозвищами.

— Эллиге! — сказал я, дивясь. — Объясни мне пожалуйста, отчего вы все, словно на смех, дали мне имя этого исторического лица?

— Ах, Боже мой! — отвечал он. — Да разве же ты не знаешь, что ты похож на него, как две капли воды.

— С чего ты взял?

— Я-то? Да разве же я один?.. Ведь это не миф... Портреты его и бюсты, и статуи существуют тысячами, во всех галереях. В столице стоит даже памятник, отлитый из бронзы, работы бессмертного Гамбо... Кстати сказать, мы давно уже собираемся дать домашний спектакль и заставить тебя разыграть его роль в этой самой драме... Несколько избранных сцен...

— Нет, сердце лопнет! — отвечал я, не подумав, как странен должен ему показаться, такой ответ.

— Это с чего?

— Так... драма произвела тяжелое впечатление... А впрочем, может быть, и не лопнет; но я, во-первых, плохой актер, а, во-вторых, — что толку если один из десяти будет похож?..

Кандамы вы, например, наверное уже не найдете.

Он промолчал.

— Ее достоверных изображений нет?

— Есть, — отвечал он спокойно. — И если желаешь, я завтра тебе покажу. Зайдем в музей. Там, в исторической галерее есть бюст.

Я замолчал, едва скрывая свое волнение.

За ужином собрался небольшой, интимный кружок: все молодые, горячие головы, — и разговор, слегка коснувшись разных вещей, вернулся, как он возвращался обыкновенно, к политике. Все были согласны в нескольких основных и, как нам казалось, бесспорных истинах. Положение, до которого дошло всемирное государство, представлялось нам чем-то чудовищным и мы не находили слов достаточно крепких, чтобы его заклеить.

— Если бы Унаянге воскрес, — сказал один из гостей, — и полюбовался, каких результатов достигла наследница его традиционных прав, республика, — любопытно знать, что он сказал бы?

Усмешка зарницею пробежала по молодым, открытым лицам и взоры всех остано-

лись на мне.

— Ну-ка! — сказал хозяин, — тетка, в котором быть может еще осталось несколько капель его благородной крови, — отвечай за отсутствующего.

— Сказал бы, — отвечал я, — что единственная надежда на леев, но что им нужен вождь, способный их разбудить от трехтысячелетнего сна и облеченный неограниченным их доверием.

— Bravo! — воскликнула вся компания. — За здоровье нового Унаянге!

Тяжелые золотые кубки наполнены были искрометным вином и все, обращаясь полусуто, полусерьезно ко мне, — осушили их разом до дна.

— И дай Бог скорее его найти! — прибавил кто-то.

— И дай ему Бог побольше надежных друзей!

Тосты следовали, заглушаемые рукоплесканиями. Кто-то запел старый, как мир, монархический гимн. Ему подхватили хором. Все были веселы и вино лилось до рассвета.

Я возвращался один по улицам сонного го-



рода и на душе у меня, несмотря на здоровую выпивку, было невесело. «Боже мой! — думал я. — Каких потоков крови потребовало бы осуществление нашего идеального пожелания, и какая жатва взойдет на увлажненной ею земле?..»

Бюст, показанный мне приятелем в исторической галерее, произвел на меня леденящее впечатление встречи с кем-нибудь, в ком мы рассчитывали узнать дорогие черты и ошиблись. Лицо было впрочем весьма характерное, с печатью какой-то нездешней расы, и молодое, красивое; но увы! чужое. Это открытие сильно меня отрезвило и я ушел, стараясь уверить себя, что вчерашнее впечатление было плодом болезненно раздраженной фантазии: но, к величайшему удивлению, я не в силах был выгнать из головы этого образа. Весь вечер после того и даже ночью, в бессоннице, он не давал мне покоя: память с мучительным напряжением силилась уловить в нем что-нибудь, хоть малейшую черточку, которая помогла бы ей отыскать потерянное. Реальное впечатление, как всегда, при этом утрировалось и переделывалось раз два-

дцать, пока наконец дошло до того, что я не мог уже отличить его от созданий собственного воображения. Это длилось два дня и вывело меня наконец совсем из терпения. Не доверяя больше себе, я отправился еще раз в галерею и с чувством невольной робости, словно меня ожидало какое-нибудь таинственное открытие, остановился перед знакомым бюстом. Он был все тот же, т. е. совсем непохож на мои фантазии, проще, реальнее, но черты его, по-прежнему, оставались загадкой. Я стоял перед ним целый час и изучил его до малейших деталей, не находя по-прежнему ничего знакомого, кроме того небольшого, что уцелело от первого впечатления. Но едва я ушел, считая себя на этот раз окончательно отрезвленным, как на меня нашло какое-то странное просветление: образ, вынесенный в душу, вдруг ожил и озарился очаровательною усмешкой; бледные щеки вспыхнули; длинные с поволокой глаза обратились ко мне с сердечным приветом и без дальнейших усилий, просто, мгновенно, загадка была решена. Мне стало ясно, что я не узнал Кандаму единственно потому, что она никогда не смотрела

на меня так равнодушно, как смотрит в музее — бюст. Бегом я вернулся к нему и долго не мог прийти в себя от изумления: «Да ведь она же! Она! Как мог я ослепнуть до такой степени, чтобы это лицо, когда-нибудь, хоть на миг, показалось чужим?..» Я был один и упал на колена перед мраморной Кандамой, в сердце своем прося у нее прощения...

Долго ли я так стоял — не помню, но шум шагов, приближавшихся из соседней залы, заставил меня наконец опомниться и вскочить. Это был Эллиге, как он сам объяснил, искавший меня по всем знакомым, чтобы пригласить на обед, где будут приезжие из какого-то отдаленного штата.

— Люди, которых мы все давно уже ждем... «из наших», — сказал он, понизив голос, — и вдруг, меняя предмет: — А ты опять здесь? Не можешь расстаться с своею красавицей?.. Брось! Я покажу тебе лучше живую Кандаму... Мы наконец нашли ее для спектакля и надо же такой случай, — как вылитая!

— Кто же это?

— Приезжая, дочь одного из старых моих друзей. Отец занимает важный пост в мест-

ном правительстве... Богатые люди, из лучшего общества... Сию минуту от них... Увидишь их у меня за обедом.

Мы познакомились... Сходство бросалось в глаза; но от драмы к воспоминанию о живой Кандаме, а от нее к изваянию, а от изваяния снова к живому лицу, — путь был нелегкий, и я, понято, не мог разобраться на нем мгновенно в своих впечатлениях. Трудность на этот раз усилена была еще тем, что живая женщина не статуя, которую можно разглядывать на досуге, сравнивая и изучая. Она дичилась, бросая украдкой в мою сторону любопытные взоры; а меня, когда глаза наши мимоходом встречались, бросало в холод и в жар. Ее звали Фей (сокращенное от Фаимы), а ее отца — Солиме. Это был смуглый, как медный пятак, мужчина, высокого роста, с проседью в черных как смоль волосах и с строгим, сумрачным взором. Он был не чистокровный ванз, но тем не менее полноправный гражданин республики, — случай, как мне объяснили потом, нередкий в их отдаленном штате, где политические мотивы, во времена предшествовавшие завоеванию, заставляли ванзов смот-

реть сквозь пальцы на этого рода помесь. Он был молчалив и сдержан; но видимо находился в старых, приятельских отношениях с Эллиге и его друзьями, о чем, между прочим, свидетельствовало и присутствие его дочери, единственного лица ее пола, в нашей компании.

После обеда речь зашла о спектакле, с которым надо было спешить, так как приезжие были тут на короткий срок; и наш милый хозяин представил меня еще раз молодой смуглянке, как намеченного уже давно исполнителя главной роли. Предполагалось дать несколько избранных сцен, не требующих большой обстановки, и зрители ограничены были интимным кружком. Но Фей волновалась, краснела и почему-то казалась мне в нерешимости.

— Очень боюсь, что мы не успеем, — сказала она, сверкнув на меня исподлобья глазами.

— Начните завтра же; дело ведь в сущности в двух ролях и вы можете репетировать их вдвоем.

Она затруднялась, ссылаясь, что с ней будет много хлопот, потому что она плохая ак-

триса.

— Неправда, — сказал коротко отец.

К дикарке, однако, пристали и после короткого колебания она уступила, взглянув однако же на меня еще раз тревожным и вопрошительным взором.

— Откуда они? — спросил я перед уходом у Эллиге.

— Откуда же быть может родом Кандама, как не из Ларса.

— Ты шутишь?

— Нет, серьезно, они оттуда. Теперь это штат в союзе республики, — гнездо и оплот сепаратизма.

Я был приглашен отцом ее и явился к ним поутру. Фей знала роль наизусть, — я тоже. Отец должен был присутствовать; но он был не ригорист и, получив какие-то письма из дому, требовавшие немедленного ответа, ушел к себе, прося меня не стесняться его отсутствием.

Первою сценою шло мое ночное вторжение в терем Кандамы. Испуг, после того как она узнала меня, сменяется гневом.

— «Принц! — начала Фаима дрожащим го-

лосом. — Вы конечно надеялись на ваш сан, позволив себе такую дерзость? Но он не спасет вас. Мне стоит позвать отца и, клянусь вам Богом, вы не уйдете отсюда живой!»

— «Кандама! — отвечал я. — Я здесь не затем, чтобы вас оскорблять. Единственная моя вина перед вами та, что я вас люблю больше, чем мне позволяет мой сан, — люблю больше власти и славы! Если вы не хотите простить мне этого, то зовите отца и пусть он рассудит: заслуживаю ли я умереть... Я к вам вошел, как вор; но мне ничего не нужно от вас, кроме того, что может быть спрятано, как драгоценнейшее из всех сокровищ, в собственном вашем сердце... Кандама! Откройте, откройте мне ваше сердце!..»

Дойдя до этого места, я ждал реплики, но ее не было... Фей дрожала как лист.

— Увольте меня, — сказала она беззвучным голосом. — Я не могу продолжать... — И на вопрос отчего: — Я должна вам признаться, что эта драма — я знаю ее к несчастью слишком близко — всегда производила на меня тяжелое впечатление... Вчера я не смела этого объяснить, но сегодня мне нечего боль-

ше и объяснять. Вы видите: с нескольких слов я совершенно расстроена.

— Лин (то же что mademoiselle) — Лин Солиме! — отвечал я, теряя голову. — Признание за признание. Назад тому несколько дней, я не мог досмотреть эту драму и выбежал из театра, как сумасшедший. Ночью, в публичном саду, на скамье, я заливался слезами! Вчера, в исторической галерее, упав на колена перед портретом Кандамы, я думал, что сердце мое разорвется на части!.. И вот, теперь, услышав ваше признание, я спрашиваю себя: какая тайна скрывается в нашей, по-видимому случайной, встрече?.. Судьба привела вас сюда из далеких краев, — меня — я не помню уже откуда, но если не ошибаюсь, путь мой сюда был еще гораздо длиннее вашего... Зачем? — скажите: зачем? Чтоб после коротких минут пожать друг другу руки и разойтись? Лин Солиме! Если для вас это будет легко, то я предпочел бы, чтобы мне, голову сняли с плеч!

— Вы говорите страшные вещи!.. — сказала Фей, смотря на меня испуганными глазами. — Кто вы?.. О! Ради Бога, скажите правду!



— Не знаю, — отвечал я, — но может быть мог бы узнать, если бы мне удалось разъяснить один трудный вопрос. Лин Солиме! Можете ли вы ручаться, что далее дня рождения для нас с вами не было ничего? Что мы никогда не встречались ранее... и не знали друг друга близко? О! Боже мой, как близко!

— Нет, — отвечала она, зардевшись, — напротив, я верю... — Но у нее не хватило духу сказать, во что она верит. — О! Я с ума сойду! — прошептала она.

— Ну, а если я вас назову другим вашим именем, — старым?.. Если я вам скажу — Кандама, я вас люблю, как любил две тысячи лет назад, — люблю такую любовью, которую не остудят: холод промежду звездных пустынь и безбрежное море веков!

Она рванулась ко мне с безумной усмешкою на лице, но пошатнулась, схватилась руками за сердце и рухнула на пол без чувств.

Отец, испуганный шумом ее падения, вбежал в комнату.

— Что это?.. — И мы оба кинулись к ней, но я не знаю кто был больше испуган.

— Что это? Что это? — твердил он, тоном

глубокой жалости. — Такая здоровая девушка! Этого никогда с ней не было!

— Впечатление этой несчастной драмы, — сказал я. — Вы видите, что она не может играть...

Затея спектакля конечно была оставлена и отец ее стал торопиться отъездом; но мы с Фимой дали друг другу слово, что это не разлучит нас.

— Прощайте, друзья! — сказал я Эллиге и собравшемуся у него, приятельскому кружку. — Я уезжаю с Солиме в Ларс.

Это нисколько не удивило их, потому что привязанность моя к Фей уже была замечена, и в ответ я осыпан был поздравлениями.

За средствами не было остановки, так как мои сбережения к этому времени успели уже составить довольно солидный итог; но Ширм, когда я сказал ему о своем отъезде, нахмурился.

— Смотрите, — сказал он, — не засидитесь там долго.

— А что?

Он пожал плечами, с какою-то грустной усмешкой.

— Меня не удивляет ваша рассеянность, — сказал он снисходительно. — Вы молоды и кто видел Фаиму Солиме, тот поймет, что аттракция этого рода, в ваши лета, всесильна. Но именно потому я и считаю не лишним вас остеречь. Вы забываете, кажется, что пребывание наше здесь не вечно. Срок близок; имейте это в виду и примите дружеский совет: не затевайте планов, которые могут не сбыться за недостатком времени для их осуществления.

На меня вдруг пахнуло могильным холодом того чувства, которое всем знакомо, — чувства, когда накануне реализации самых пылких надежд, какой-нибудь моралист, с великопостною миною, напомнит нам вдруг о непрочности наших земных утех и о страшной минуте вечной разлуки со всем, что нам мило и дорого. Придет, мол, конец всему, может быть ранее чем ты думаешь; и захватит тебя врасплох... Действительно, я не мог отрицать, что-то такое было, там, в прошлом, что придавало его словам как будто бы и серьезный смысл; но это — что-то мерцало в такой беспредельной дали и очертания его расплы-

вались в таком холодном тумане, что мысль искалечить ради другого мира пламенные надежды на счастье в этой жизни, отзывалась почти хлыстовщиной... Что же делать, если уже человек так создан, что он не может в себе совместить двух жизней. Реальная, окружающая меня, к этому времени овладела всем моим существом; а та, другая, бледнела и исчезала, как звезды в лучах восходящего солнца; и скоро от нее остался призрак — не призрак, а так что-то вроде рамки, которая содержала в себе когда-то подпись с изображением; но и то, и другое потускло так, что нельзя уже ничего разобрать. Понятно, я иногда оглядывался туда, на эту рамку; и чувство, которое она возбуждала во мне, было не из приятных. Оно похоже было на страх неоплатного должника, которому кредитор напоминает о дне расчета.

«Конечно, он неизбежен, — думал я, — этот день; но что пользы думать о нем ежеминутно, если я раз убежден, что я не могу ни ускорить его, ни отдалить? Не лучше ли жить, покуда живется, и умереть, когда Богу угодно, не терзая себя преждевременною мыслью о кон-

це...» Я говорю: «умереть», потому что разлука с Фаимой, в какой бы форме она ни пришла, была для меня равносильна смерти.

— Я не желаю портить вам лучших минут пребывания вашего на Ванзамии, — продолжал добродушно Ширм, — но я вас прошу убедительно: не забывайте того, что я вам сказал, потому что иначе развязка может быть очень плачевна.

Навеянное его словами, тяжелое чувство длилось, однако, недолго, и дня через три, когда я к нему зашел проститься, об этом уже и помину не было.

Перед отъездом Эллиге мне сказал:

— Надеюсь, скоро увидимся. Но серьезный смысл этих слов стал мне ясен только впоследствии.

## VI

Лучшее счастье, конечно, то, о котором нечего говорить, потому что оно и без слов понятно... Старик, конечно, догадывался отчего у Фей глаза так блестят и о чем она шепчется иногда по целым часам со своим спутником, но, как умный и опытный человек, не хотел отнимать у нашего счастья той пикантной приправы, которую придает в подобных вещах секрет, хотя бы и самый прозрачный. Украдкою данный и тем же путем возвращенный назад поцелуй, — оглядка назад: не смотрит ли кто, и затем, мгновенно, рука обвитая вокруг пояса, головка, прижавшаяся к плечу, — и все это только задатки чего-то будущего, но близкого, о чем и подумать страшно, такая по-видимому бездонная пропасть счастья там, еще впереди!.. Мог ли я помнить в такие минуты, как требовал Ширм, что это не вечно?..

На нашем пути мы посетили столицу и осмотрели ее вдвоем. Как изменилось все и как много однако же уцелело из старого!.. Келья, где содержалась более года Кандама, и

подземный ход, через который король проник в цитадель... Последний расчищен и вентилирован, и туристы из отдаленных краев посещают его каждый день, спускаясь из здания старой тюрьмы, вниз, на глубину 400 футов, и выходя, с другого конца, в погреб загородного монастыря... В тюремной келье мы выслали под каким-то предлогом старого гйда и плакали, вспоминая свидание, за которым последовала так скоро разлука... Она указала мне место, где находилась ее постель. «Все точно вчера случилось, Ионике, — говорила Фей, — и я точно вижу еще тебя, как ты вошел!.. Как коротко было счастье и как дорого я за него заплатила!..»

В простых и коротких словах, она рассказала мне тут (предмет о котором бедняжка до сих пор упорно молчала) — что с нею случилось, когда до нее долетела ужасная весть, и свое отчаяние, когда она увидела меня на носилках, уже без признаков жизни. Но когда я спросил у нее, в смущении, что с нею было потом и как провела она долгие годы разлуки, Фаима, с горькой усмешкой, потупила взор.

— Забыла меня?.. — и я шепнул ей на ухо еще несколько слов.

— Ионике, как ты зол!.. — отвечала она, украдкой отирая слезы. — Ведь ты же знаешь, что нет! Знаешь, что тысячи лет разлуки не помешали мне с первой встречи тебя узнать! Смотри на меня: я покорна судьбе и не мучу тебя ребяческими сомнениями. И верю, что никакая другая... что никакие случайные встречи не в состоянии были, даже и на минуту, отнять тебя у твоей Кандамы, что даже обманутый призраком мимолетной фантазии, в тайне души, ты оставался все-таки неизменно и неотъемлемо мой!..

Я посмотрел ей в глаза. В них теплилась, как свеча перед образом, чистая женская вера и правда. Тогда я понял, как я был глуп и, упав перед ней на колена, в нежных словах просил у нее прощения...

Видел и памятник с красноречивою надписью: «Последнему королю и первому гражданину...» Фей поставила меня возле и отошла, любуясь, как уверяла, сходством. Мне трудно было судить; гид тоже смотрел на меня и на бронзовую статую в недоумении, словно ди-



вьясь, что может быть между нами общего?

Но все, — и хорошее, и дурное, — имеет конец. Путешествие пролетело как милый сон. Не доезжая до дому, мы открылись отцу и получили его благословение. Через неделю по возвращении были обвенчаны (второй раз!). Настал медовый месяц; — и он пролетел как сон. Пошла тихая, ровная, обыденная жизнь, о которой нечего больше сказать, кроме того, что мы были счастливы.

В характере Фей были, правда, неровности: нечто вроде шипов у свежей, едва распустившейся розы; но независимо от пикантности, которую они сообщали нашим прикосновениям, о них не стоит упоминать; ибо внимание мое, к этому времени, было поглощено надвигающимися великими политическими событиями.

Провинция Ларс, как я уже говорил, завоевана была позже других и сохраняла вследствие этого кое-что из старой своей особенности. Леи в ней не успели еще погрузиться в сонный покой невозмутимого благоденствия, и обезличивающая, по отношению к ним, политика государственного режима встречала в

народе немой и пассивный, но тем не менее стойкий отпор. С другой стороны и ванзы тут до известной степени не похожи были на большинство своих соплеменников. Все элементы сепаратизма, какие бродили в республике, чувствуя тут под ногами твердую почву, стекались как-то сами собою в Ларс и столкновения провинциальной власти с союзным правительством вследствие этого были так многочисленны, что наш штат, можно сказать, не выходил из состояния скрытой войны с республикой. Понятно, что это сближало в нем ванзов с леями узами общего интереса, чему способствовали еще и другие узы, происходившие от слияния, в монархический период, знатных семейств из расы завоевателей с вождями могущественной в ту пору туземной аристократии. К числу отдаленных потомков этой последней принадлежал, как было объяснено, — Солиме, и уже то, что такой человек был одним из вождей сепаратистской партии штата, служило весьма знаменательным фактом. Были однако же и другие. Мой тесть, как я убедился еще до отъезда, имел обширные связи в кругу таких рьяных поборни-

ков коренного государственного переворота под монархическим знаменем, как Эллиге и его друзья, и массы подобных им энтузиастов стекались отовсюду в Ларс. Большая часть записывалась в милицию штата, что, по совету Солиме, сделал и я... События к этому времени пошли быстро, но я не берусь рассказывать их во всем объеме, а ограничусь лишь теми, в которых я принимал непосредственное участие.

У меня были некоторые понятия о военном деле, приобретенные не на парадах, и то, что я видел по этой части, во время моей поездки, в столице и в провинциальных сферах, внушило мне невысокое мнение о наличных вооруженных силах республики. Я говорил об этом чистосердечно с Солиме и мне без труда удалось убедить его, что союзная армия, как бы она ни была хороша две тысячи лет назад, теперь, за долгим отсутствием боевого опыта, не годится в дело, а может служить только пугалом. Это передано было начальнику штаба, лицу на которое мы могли безусловно рассчитывать; мне дали на пробу часть, и я, в короткое время, привел ее в такой вид, что она бы-

ла признана образцом военной выправки. Надежды сепаратистов выросли, и на тайном собрании их заправил предпринят был смелый шаг. Решили поставить на ноги сильную армию и дело ее организации поручено было мне.

Штат взволновался, ибо, понятно, новых вооружений в таком размере нельзя было скрыть. В столице забили тревогу и не было более никакого сомнения, что разрыв на носу. Развязка затягивалась с обеих сторон, только чтобы поспеть с приготовлениями. Они еще не успели прийти к концу, как из столицы был получен давно ожидаемый ультиматум, и, следом за ним, многочисленные известия, что союзная армия начала кампанию. Численностью она немного превосходила то, что мы имели возможность двинуть немедленно ей навстречу, но у обоих противников были резервы. Сильный корпус формировался у нас в тылу, а они ожидали своих контингентов из отдаленных провинций. Вопрос казался весь в том, кто раньше других успеет собрать свои силы; но у меня были другие соображения, о которых после. Я получил дивизию, а ин-

струкцию новобранцев сдал в надежные руки.

История первой серьезной битвы после двух тысяч лет поучительна. Ванзы были всегда, от природы, воинственный, бравый народ, как есть настоящие петухи; но с обеих сторон, ни в рядах, ни в персонале командующих, не было ни единого человека, знакомого с практикой боевого дела, и последствия этого недостатка грозили быть очень плачевными. Дело происходило в соседнем штате, куда мы успели раньше. Встретились на волнистой, поросшей мелким кустарником, местности, с маленькой речонкой, извинаящейся на дне ложбины. Естественно, что отдельные части, имея перед собою врага на противоположном склоне, должны были иногда терять из виду своих, за неровностью почвы; но путаницы, которая вследствие этого произошла, никакое перо не в силах изобразить. Едва открылся огонь, и дым от выстрелов стал застилать по очереди то ту, то другую из движущихся колонн, как некоторые из них остановились в недоумении, не зная куда девалась часть, стоявшая только что перед тем впер-

ди, и кого имеют перед собою: друга, или неприятеля? И это недоумение видимо затрудняло прежде всего вождей. Посланные от них ординарцы скакали по всем направлениям, передавая ежеминутно новые приказания: но последние делались очевидно без всякого соображения; где и в каких обстоятельствах они застанут сбитую уже ими с толку часть. По счастью, у неприятеля происходило то же, если еще не хуже, и таким образом шансы были уравновешены. Моя дивизия занимала пологую высоту на оконечности нашего левого фланга, и с гребня я видел, как часть неприятельской армии, прямо насупротив, которой следовало, в порядке вещей, атаковать нас с фронта, взяла почему-то мимо, — должно быть приказано было поддержать центр, где к этому времени начался уже кавардак, — но поспела на место в такую минуту, когда этот центр подался уже назад, и продолжала переть, не обращая на нас никакого внимания. Не видя вследствие этого перед собой никого, я двинул свою дивизию в интервал между отступающим центром и наступающим правым крылом неприятеля, но едва

не попал через это в беду, так как свои же три батареи, в центре у нас, очевидно не отличая нас издали от врагов, жарили все время в нас так, что в ушах звенело. Напрасно я посылал туда ординарца за ординарцем; прежде чем хоть один успел доскакать, мы могли бы быть уничтожены, если бы хоть десятый снаряд попадал. Но, Божию милостью, эта гроза пронеслась мимо. В каких-нибудь десять минут мы опрокинули правый фланг, и увлеченная им вся остальная линия неприятеля повернула тыл... Кавалерия гнала, преследуя, как баранов, перемешавшиеся толпы. Две батареи, знамена, обоз — остались в наших руках. В одну неделю весь штат был очищен от неприятеля... Торжество, поздравления!.. От президента пришло письмо с известием, что военный совет, по его предложению, назначил меня главнокомандующим. Ждали, что я перейду немедленно в наступление, и были очень разочарованы, убедясь из моих объяснений, что об этом и думать нечего, так как армия на три четверти состоит из новобранцев, которые, не исключая и офицеров, незнакомы с азбукою военного дела. Число вольноопреде-

ляющихся из цивилистов, действительно, после победы, росло с изумительной быстротой, и я не знал, что мне делать с этим сырым материалом, который грозил затопить едва сложившиеся боевые кадры милиции. Клубисты вносили в лагерь партийный раздор, вместе с опасною для солдата привычкою политических сходов и манифестаций. Мне стоило величайших трудов заставить этот народ молчать и повиноваться, вместо того, чтобы за стаканом вина решать государственные вопросы... Явился и Эллиге, с которым, при первом же посещении, я счел за лучшее объяснить на чистоту.

— Пойми, что мне некогда заниматься здесь политическими дебатами, — сказал я, — и сделай дружбу, освободи меня от всех этих говорунов, которые не дают мне покоя. Если бы я мог не допускать их на выстрел в лагерь, я бы давно это сделал, потому что они, как политики, мне не нужны. Но ваша партия мне нужна, как опора против сепаратистов. Слушай, — я объясню тебе мое положение и мои надежды. Сепаратисты — это все те же ванзы, и думать чтобы они когда-нибудь согласи-



лись коснуться основ своего государственного устройства, могут только совсем не имевшие с ними дела. Но я их знаю, — вся их задача: завоевать себе полную законодательную и административную автономию, так чтобы обратить союзное государство в союз независимых государств; но действительной силы реализовать эту задачу — нет, потому что их слишком мало. Две тысячи лет назад у короля было более средств, да и тех наконец не хватило, чтобы вести продолжительную войну против всей соединенной Ванзамии. Сколько бы мы ни одерживали побед, они только ускорят последнюю, неминуемую развязку. Но поставь тот же вопрос, как я намерен его поставить, иначе. В Ларсе почти 75 миллионов туземного населения и все это рослый, здоровый народ. Здесь, в штате, который мы занимаем после победы, — 100. Вооружив из них хоть один процент, мы могли бы иметь в руках такую силу, которая далеко превышает все что союз когда-нибудь был в состоянии выставить, потому что мы здесь сосредоточены, а они рассеяны по лицу Ванзамии, и один уже труд сосредоточиться будет им стоить

громадных жертв. Что же касается до того, чтобы последовать поданному примеру, т. е. тоже вооружить своих леев, то ты их знаешь: прежде чем крайность вынудит их на такую меру, они пойдут на всякую сделку. Мой план, стало быть, — не трогаться с места, по крайней мере покуда мы не успеем вооружить такую армию, которая превзойдет их вчетверо. Но тогда нам и незачем будет далеко идти, так как они пять раз до этого сами придут сюда с мирными предложениями. Но ты понимаешь: прежде чем мне позволят вооружить хоть сотню туземцев, я должен, так или иначе, сесть им на шею — сепаратистам то есть, — и вот почему вы мне нужны. Только я признаюсь тебе, Эллиге, я иногда теряю надежду сделать когда-нибудь из молодых энтузиастов и болтунов, собравшихся здесь, — хороших солдат. Убеди их пожалуйста, что они должны забыть на время, покуда они тут служат, политику, и должны научиться прежде всего молчать и исполнять приказания, а потом ходить в ногу, держать при атаке и наступлении строй, учиться прицельной стрельбе, фехтованию, гимнастике и т. д.

— Ну, а твой тесть? — спросил он.

— На тестя нельзя рассчитывать, — отвечал я, — потому что он всею душою на их стороне, и если дело дойдет до столкновения, вынужден будет, по меньшей мере, стоять в стороне...

Прошло много времени, прежде чем мне удалось осуществить хоть в слабой степени этот план; но при новой встрече с врагом я имел уже под командой три сильных корпуса: один из леев, другой, в состав которого вошла милиция из двух штатов, но в котором преобладали сепаратисты, — и третий — сплошь из сторонников Эллиге, т. е. из роялистов. К несчастью, в лагере уже шел разлад. Сепаратисты, подкупленные желанием положить предел опасному в их глазах усилению принципиально враждебных им элементов, допустили весьма неохотно временное, как они надеялись, вооружение Леев. Но энтузиазм, с которым, в среде последних, встречена была эта мера, делавшая из стада счастливых рабов, — людей и граждан, открыл им глаза. Мне было предложено распустить новый корпус, — но уже поздно. Я отказался, ссылаясь

на слабость армии и на трудность, в виду долголетней войны, пополнять ряды ее исключительно из привилегированного племени, и невзирая на озлобление, которое возбудил этот первый, самостоятельный шаг главнокомандующего, меня не посмели сменить, опасаясь восстания в армии и в народе. Нужно было сперва подорвать мою популярность и с этою целью пущен был слух, что я добиваюсь диктаторской власти. Это была их вторая ошибка, и они сами скоро увидели, что они играют мне в руку. Вместо того, чтобы повредить мне, слух этот принят был в партии Эллиге и в народе с таким восторгом, который скоро зажал им рот.

## VII

В таком положении находились дела, когда, получая, одно за другим, известия, что неприятель близок и ждет только сильных резервов, чтобы возобновить борьбу, я решил его предупредить. Армия перешла границу, быстро атаковала неприготовленного, врага и, после упорного боя, в котором леи вели себя превосходно, вновь одержала блистательную победу. Это ускорило ход событий. Восторг был такой, что на смотре, после победы, два корпуса, в один голос, провозгласили меня королем. В третьем происходило какое-то колебание, свидетельствовавшее, что эта часть армии захвачена совершенно врасплох, но кончилось тем, что корпус (конечно это был корпус сепаратистов), хотя и не дружно, примкнул к остальным. Ясно было, что коноводы их партии трусили, хотя ничего умнее этого они не могли бы сделать, если бы я и дал им опомниться, ибо намерение мое было немедленно принято. Если бы они не последовали примеру товарищей, я окружил бы их превосходными силами и так или иначе

вынудил положить оружие.

Пронунциаменто[5] армии принято было с восторгом в народе, за исключением, разумеется, привилегированной расы, — и вести о нем, с непостижимою быстротой, распространились по всей территории отложившихся штатов. Везде зажигались костры, слышны были дружные возгласы радости, поздравления; ликующая толпа запружала улицы. Но я не терял ни минуты времени. В тот же день подписаны и обнародованы три королевских декрета. Первым отменены все учреждения, ограничивающие каким бы то ни было образом свободу Леев, и их права безусловно уравнены с правами доселе привилегированной расы. Вторым — распущены представительные собрания в занятых нами штатах и единым источником всякого рода власти провозглашен король. Третьим — я приглашал народ одобрить предшествовавшие распоряжения и выбор армии, путем поголовного голосования, время и способ которого я предоставлял себе определить по усмотрению.

В вихре событий, за тысячами забот, среди приказов по армии, депутатий, выходов,

совещаний, я не забыл, однако же, и своей подруги, с которою не видался уже два месяца. Дешеша отправлена была к ней в тот же вечер. Зная кое-какие слабости этой особы, я выражал в ней надежду, что Фей, во всяком случае, не будет очень огорчена известием, что она теперь королева, и рассказал ей подробно, как это так случилось. За сим: «если тебя не очень это отяготит, дружок, — писал я, — то сделай милость, не поленись, приезжай сюда тотчас же, ибо ты понимаешь, как я горжусь своей королевой и как мне не терпится показать ее армии и народу...» Но она была умная женщина и за эту дешешу, при первом свидании, надрала мне уши.

Никогда она не была так прелестна, как в день ее первого выхода по прибытии. В белом атласном платье, убранном кружевами, и в небольшой, осыпанной дорогими камнями короне (милая Фей! она не забыла ее заказать и привезти с собой, в саквояже), — гордая, радостная, сияющая молодостью, здоровьем и красотой, она встречена была оглушительными приветствиями, — дома увешаны были флагами и коврами, путь усыпан цветами, —

народ, офицерство, армия не могли довольно налюбоваться своей королевой. Вечером, небольшой уездный город, где квартировал наш главный штаб, сиял бесчисленными огнями иллюминации и при дворе назначен был, в честь приезда, парадный бал...

Но еще до приезда Фаимы, утром, я получил письмо, которое несколько меня озадачило.

Оно было от Ширма:

*«Бросьте немедленно все, как бы оно ни казалось вам важно, и приезжайте в Оризе[6]. Вы найдете меня без труда в единственной городской гостинице... Срок истекает сегодня ночью, в 3 и 16 минут, по меридиану Пулковской обсерватории, а по-здешнему в 6, и нет никакой возможности его пропустить. Так или иначе, вы должны покинуть сегодня Ванзамию; но... я желал бы спасти вас от неприятности, которая вас ожидает в случае, если вы это забудете. Ширм».*

Это произвело на меня неприятное впечатление «Мартовских ид». Но все что практически связано было с обстановкой прибытия мо-



его в Ванзамию, равно как и все предыдущее, до такой степени улетучилось у меня из памяти, что на месте, где это должно было быть, образовался какой-то бланк, — нечто напоминающее два зеркала, поставленные друг против друга, и взор созерцающий в них бесконечную перспективу рамок без всякого содержания, короче, — нечто такое, о чем и думать нельзя, потому что оно само — ничто.

«Чего от меня добивается этот шут? — ворчал я, смяв и засовывая в карман письмо. — Уж не шантаж ли затеял с целью выманить у меня что-нибудь за молчание?.. Какое-нибудь местечко по интендантской части?.. Ну, да черт с ним, пусть ждет...» И минуту спустя это вылетело уже из головы.

## VIII

Съезд только что начался, когда я был вызван дежурным штаб-офицером из свиты... Что там?.. Из авангарда курьер с известиями... Неприятельские разъезды видны и от лазутчиков сведения: сильный кавалерийский отряд на расстоянии часа езды от лагеря... Дело безотлагательное и я не мог его поручить никому, так как сильно не доверял авангарду. Корпусный командир и несколько человек из штаба были приглашены на бал, но при таких обстоятельствах их нельзя было ожидать... Я приказал задержать до дальнейших распоряжений курьера, а между тем немедленно оседлать лошадей и выставить шесть человек конвойных.

— Фей, — сказал я жене, в свою очередь вызвав ее, — я вынужден отлучиться по важным делам и может быть не вернусь так скоро, как я бы желал; но нет никакой нужды расстраивать из-за этого бал. Извинись за меня, не делая виду, что я уехал. Скажи коротко, что я занят и скоро вернусь.

Она была очень встревожена и упрашива-

ла меня сказать, что такое; но я уверил ее, что ничего особенного и что мне лично не предстоит никакой опасности... Мы обнялись, — увы! — не предчувствуя вечной разлуки!.. Фей проводила меня на крыльцо. Оно находилось с другой стороны, на дворе, и конвой сидел уж в седле.

— Прощай!

— Прощай, Ионике!

Я ускакал...

Корпус сепаратистов стоял недалеко от границы, в сильной позиции, и я направился прямо туда. Дорога лежала по пересеченной, холмистой местности... Ночь; на горизонте облачно, но вверху, над головою, дуга одного из трех колец — спутников, опоясывающих планету, светила сквозь стаи перистых облаков, своим матовым, серебристым светом... Легкий туман лежал на окрестности, — даль завешена была им как дымкой...

Мы ехали на рысях; я несколько впереди других, и мысли мои были заняты любопытным вопросом: что привело союзный отряд так близко к месту расположения нашего авангарда?

Топот сзади... Кто-то нас догонял на быстром коне... Это был Эллиге, которому злая судьба внушила мысль разделить со мною мою экскурсию. Когда он догнал меня, мы ускорили несколько шаг, чтобы конвойные не могли нас слышать; и я объяснил ему коротко, что заставило меня бросить, в такую минуту, бал.

— Я удивляюсь тебе, — сказал он (мне не нравилось, что он говорит мне по-прежнему «ты», но глаз на глаз не стоило делать из этого важности)... Удивляюсь как можно было поставить корпус их впереди, в такое время, когда все заставляет думать, что они затевают измену?..

— А разве лучше с такою догадкой оставить его в тылу? Если бы я был уверен в том, что ты говоришь, я не мог бы нигде их оставить, а должен бы был истребить, или обезоружить. Но дело еще не ясно.

— Зачем этот кавалерийский отряд так близко?

— Если б я знал зачем, то не стоило бы и ездить... Я мог бы принять другие меры.

— Но ты отправился на разведку почти

один... Не безумство ли так рисковать?

«Зачем он со мной говорит таким тоном? — подумал я. — Безумство — не принято говорить, когда дело идет о коронованных лицах».

— Опять-таки, — отвечал я, — иначе было нельзя. Я не намерен атаковать их; а для разведки, чем менее провожатых, тем лучше.

— Вышли по крайней мере хоть двух человек вперед, чтоб не наткнуться врасплох.

— Рано еще, — отвечал я, — они не могли проникнуть так далеко... Ей, Эллиге, лучше вернись, ты не привык к подобным вещам, да и помощь твоя мне не нужна.

Но он не хотел и слышать.

Мы ехали уже с час, не увидев живой души... В тумане, недалеко впереди, лежал глубокий овраг... Я выслал вперед пикет, а остальным велел держаться на небольшом расстоянии сзади и не зевать... Спустились в глубоком молчании, но едва начался подъем, как впереди, из чащи, сверкнуло. Это был выстрел, за ним другой; и испуганный конь промчался без седока...

Мы повернули и поскакали назад, но было

уж поздно. Навстречу и сзади, из мрака и из тумана, выскочили спешенные кавалеристы, — другие, конные, видны были с обеих сторон на гребне оврага. Уйти было некуда, — оборона напрасна. В одно мгновение мы были окружены и наши лошади схвачены под уздцы, — оружие отнято... Это была союзная конница. К нам подскочил офицер и вежливо объяснил, что при малейшей попытке сопротивления или бегства, мы будем связаны, что весьма затруднит и сделает неприятной для нас верховую езду.

— Марш! — раздалась команда; и мы поскакали, со всех сторон окруженные... Целью, как оказалось, был маленький городок, на границе штата. Дорогою мы проехали мимо лагеря нашего авангарда так близко, что можно было пересчитать сторожевые огни; но ничего похожего на обычные меры предосторожности я не заметил. Ясно, что между нашими и неприятелем произошла какая-то сделка, но в чем она состояла — мне не суждено было никогда узнать, равно, как и то что случилось с Эллиге, с которым, немедленно по приезде на место, меня разлучили.

В городе все обличало осадное положение. Двери замкнуты, огни потушены, на улицах ни души, кроме военных, — везде часовые, патрули.... Мы прискакали к какому-то видному дому на площади: он был освещен и внутри заметно движение; у дверей — часовые... Меня ввели в караульную и оставили под надзором трех человек. Что такое готовилось, я не знал, но все вместе имело зловещий вид.

Мысли мои, как это случается, когда вынужденное бездействие застает человека в минуты опасности и тревоги, блуждали, хватаясь за все что попало и ни на чем не останавливаясь. Прошло таким образом уже немало времени, когда, случайно засунув руку в карман, я ощупал в нем скомканную бумажку. Стоило только взглянуть на нее, чтобы узнать письмо Ширма. Только теперь я вспомнил о нем и от нечего делать прочел еще раз.

*«...в Оризе... в единственной городской гостинице... в 3 и 16 минут по полуночи...»*

— Что это за город? — спросил я урядника, не спускавшего с меня глаз.

— Оризе.

Меня, как палкою стукнуло по лбу. «Значит, он звал меня, чтобы выдать, и это другое известие было не более, как добавочная ловушка на случай, если бы они промахнулись, как то и случилось, с первой!»

Все очевидно было в связи или, по крайней мере, в ту пору это казалось мне ясно как день, — но позже я понял свою ошибку... Одно только время казалось еще загадкой. Что такое: отъезд в 3 и 16 минут по меридиану какой-то обсерватории, а по здешнему в 6?

— Который час? — спросил я опять урядника.

— Надо быть скоро три...

Не помню долго ли я просидел в караульной, но живо помню вторую сцену. Она происходила в просторной комнате, где, при свечах, за столом, сидело несколько человек в мундирах союзной армии.

Это был полевой военный суд, — пустая обрядность, чисто во вкусе того лицемерия, которым полна история Ванз. Не вижу нужды



рассказывать его процедуру, так как она была для меня безразлична. Поэтому я и не дал себе труда отвечать на допросе: они не услышали от меня буквально ни слова. Я был осужден на смерть за государственную измену, и казнь назначена в 6 часов поутру — «по-здешнему».

Оставалось еще два часа, но они были неописанно тяжелы. Начать с того, что мне весьма мудро было воздержаться от горьких упреков судьбе, оторвавшей меня, по-видимому без всякой вины с моей стороны, от дела, в которое я вложил всю душу... Фаима, любовь, высокие цели, кипучий водоворот надежд и стремлений, — победы, история, слава... все это стояло с одной стороны, как друзья, протягивающие мне руки, — с другой чистый бланк, на котором мне предоставлено выводить, в утешение для себя, какие угодно узоры, с условием, чтобы их смысл в итоге был равен нулю... Холод и пустота, — та жадная, ненасытная пустота, которой хватит, чтобы поглотить миллиарды миллиардов живых сердец, со всем что когда-нибудь в них трепетало чистого или грязного, высокого или низ-

кого, и надо всем гигантский, древний, как мир, вопрос: Зачем?.. На что бездонной и безответной яме все это горе разлуки и все эти жертвы... слезы?..

Дверь отворилась и кто-то вошел ко мне в караульную. Это был духовник, которого мне прислали, чтобы приготовить меня к разлуке с Ванзамией? Он начал вкрадчивым голосом, обыкновенный вопрос: подумал ли я серьезно о важном значении того шага, который мне предстоит, и готов ли я совершить его, как подобает грешному человеку, с смиренным сердцем, — и прочая.

— Отец мой, — я отвечал, — вы много бы меня обязали, если бы нашли возможным сказать мне прежде одно: куда я иду?

Ответ его незачем приводить. Он был истинный ванз, и как такой, не мог дать мне того, чего в нем не было, — правды.

Долго, тоскливо, звучал у меня в ушах его голос, но смысл того что он говорил, был чужд и далек от меня. Внимание мое было поглощено чем-то незримым, что приближалось медленно, ровно, — но что такое подходит ко мне, — я не знал. Это похоже было на

длинную анфиладу рамок, без содержания, в конце которой меня ожидало что-то бесцветное и бесформенное, неосязаемое и непонятное, к чему, казалось, нельзя никогда прийти — а между тем оно уже было тут!..

Шаги... бряцание сабель... нет сил продолжать рассказ... Светало; но солнце всходило не для меня, а для меня весь мир словно сошелся клином, там, на подмостках.

...В минуту, когда я ступил туда, двор, крыши, небо, люди, толпящиеся вокруг, — все потеряло свой смысл... Что это передо мною — плаха, или порог, через который я должен ступить?.. Иду!.. Прощай, Фаима!

— Прощай, Ионике! — долетел едва внятно издали хорошо знакомый голос...

Тррах!.. Огни запрыгали у меня в глазах и все завертелось волчком...

\* \* \*

Как описать мой ужас, когда, после минуты беспомощности, я почувствовал себя на полу и услышал вокруг голоса... Открываю глаза — над головою ночное небо и звезды... Тело мое на сырой, росистой траве, а голова на чьих-то коленях... Вокруг какие-то люди о чем-то хло-

почут, и между ними знакомое лицо рослого офицера, который стоит, наклонясь, над мною и держит в руке фонарь... С неописанным удивлением я узнал Б\*\*.

Первым и совершенно-невольным моим движением было хватиться рукою за шею, — но шея цела.

— Что это с вами? — спросил сердито-встревоженным голосом Б\*\*. — С каких пор вы тут лежите?

— Который час? — спросил я, припоминая что-то.

Он посмотрел с деловою миною на хронометр.

— Три и 17 минут, по меридиану Пулковской обсерватории.

— А по-здешнему шесть, — добавил я машинально и совершенно бессмысленно.

— Эхе! Да вы кажется бредите?.. Что с вами? Уж не падучая ли?

Я озирался блуждающим взором, в сумме очень довольный чем-то, хотя и не знал еще чем. Мысли мои были в таком разброде, что я не мог ничего взять в толк.

— Вставайте! Пойдемте! Что за дураче-

ство? («дурачество» не принято говорить, когда дело касается коронованных лиц, мелькнуло в моей голове)... И с чего? Если бы пили водку за ужином, я бы право подумал... Но со стакана Марго?.. Да вы знаете ли чем вы рисковали?.. — крикнул он вдруг сердито. — Нянька за вами нужна, — вот что!

Я встал, опираясь на руку сторожа. Ноги и руки мои были, как не свои; но понемногу это прошло и я дошел до квартиры без помощи... Б\*\* заставил меня почти насильно выпить стакан глинтвейну.

# IX

Случай этот прошел без последствий для моего здоровья; только я был с неделю задумчив, угрюм, и на меня до сих пор находят, днями, припадки неодолимой тоски. Видение на другой день уже стало бледнеть и, опасаясь совсем забыть его, я старательно записал все что осталось в памяти. Вышла эта тетрадь. Когда я прочел ее Б\*\*, то он решительно отказался верить, чтобы тут было хоть слово правды. «Ну, полноте, — говорил он, то приходя в негодование, то катаясь со смеху, — признайтесь уж лучше просто, что вы это сочинили? Это похоже на вас».

Спорить с неверящим, на стороне которого общее мнение и рутина ученых воззрений, весьма неприятно, так как это вас обращает в мишень самых плоских насмешек. Пришлось отступить и чтобы сделать это прилично, я предложил ему помириться на сон; но он вероятно нашел, что и это дешево.

— Ну, сон, — так сон, — сказал он, — я вам не мешаю записывать сны, хотя это и неприлично для русского офицера, окончившего

курс в академии. Пусть будет сон; только как вы хотите меня уверить, чтоб в три часа, — вы спали не долее, — вы могли увидеть так много? Вспомните, вы там служили в почтовом ведомстве и получали жалованье, из которого успели сберечь достаточно на далекое путешествие. Ну как, я вас спрашиваю, поверить, чтобы в такой короткий срок вы успели сберечь так много? Жалованье ведь вы получали помесечно? Сколько же месяцев надо было служить экспедитором, чтобы сберечь на вояж?.. И опять там дальше, еще война: вербовка и обучение нескольких корпусов, — кампания, в которой вы дослужились до главнокомандующего! Скоро уж больно что-то! Черта ли вам когда-нибудь дослужиться до главнокомандующего! Вы вон отбыли целый поход и под Шипкою отличились, а все еще капитан. Королем — скорее, в сказках ведь всякий Иван, от нечего больше делать, становится королем... и прочее.

Я молчал. Вопрос о времени мне самому казался неразрешим. Так это и брошено было... Тетрадь валялась где-то в шкафу — забытая... Изредка видел еще во сне Фаиму, — все-

гда печальную. Смотрит так жалко в глаза и молчит.

Недавно, когда гипнотизм стал в Петербурге предметом общего интереса, мне случилось разговориться об этом с доктором Z\*\*, психиатром, и я между прочим просил его разрешить мне одно недоумение.

Вопрос был поставлен так: можно ли пережить во сне, продолжавшемся три часа, впечатления нескольких лет действительной жизни?

— С помощью некоторой иллюзии, — отвечал он, — можно. В действительной жизни уходит пропасть времени на такие вещи, которые в общем эффе́кте пережитого бесследно затеряны. Человек, занятый чем-нибудь, что его поразило с месяц тому назад и с тех пор озабочивает, может забыть очень многое из того, что с ним было за это время и знать только вообще, что он ел, пил, спал, видел людей и разговаривал. В его представлении о пережитом времени, таким образом должны оставаться бланки, т. е. нули испытанных впечатлений, общий итог которых будет все тот же нуль, или около. Вот эти то бланки,



т. е. пустые рамки времени и оставляют простор для иллюзии. Возьмите рассказ. Он может изображать потрясающие исторические события, с такой, по-видимому, реальной полнотой — что слушающему снится, как будто он лично пережил все это бурное время, а между тем рассказ может занять, в действительности, не более трех часов... Сны, впрочем, редко бывают последовательны и связны; а если нам иногда и снится противное, то это почти всегда продукт последующей работы воображения. Бывают случаи, когда субъективное раздражение нервных центров, источник всех сонных галлюцинаций, переживает сон. Тогда мы бессознательно связываем бессвязное и пополняем пробелы из запаса знакомых нам впечатлений; но это уже болезненное явление. Психически совершенно здоровые люди не помнят снов.

Он говорил еще, но меня не удовлетворили его ученые объяснения.

Ширма я более не встречал; но если встречу, отколочу. Эта скотина мог бы избавить меня от большой неприятности, если б он объяснил мне толком в чем дело. К тому же нет ни-

какого сомнения, что он был в Оризе, когда меня привезли, и знал, что там затевается. Мне даже помнится, что я видел мельком его лицо в толпе, окружающей эшафот...

Вы, может быть, скажете: дичь! — и я с вами не спорю; с здешней, земной точки зрения, — разумеется: дичь. Но вернись я в Ванзамию, и расскажи там кому-нибудь, что делается тут на Земле, как вы полагаете — они так и поверят, что это не дичь?.. Нет-с! Я их знаю немножко. Они там уверены, что их Ванзамия — единственное место во всей вселенной, где радуются и страдают, верят и сомневаются; а все остальное — так, только декорация.

*1887 г.*

# Примечания

*Ретраншемент* (фр., от *retrancher* — укреплять, обносить окопами). Вал, окоп для защиты, преграда против нападения неприятеля.

[^^^]

## 2

Милостивый государь говорит по-немецки?

[^^^]

Как в этом, так и в других подобных случаях, я предпочитаю называть вещи, хотя и не в точности выражающими их, но зато знакомыми именами, вместо того чтобы входить в пространные и все-таки не говорящие ничего воображению, — объяснения. (*Примеч. автора*)

[^^^]

## 4

Ванзанки, как общее правило, некрасивы; но есть прелестные исключения. (*Примеч. автора*)

[^^^]

# 5

Всенародное провозглашение; объявление во-  
еначальника противником правительства;  
призыв к восстанию.

[^^^]



## 6

Маленький городок, недалеко от места расположения нашего авангарда, на границе штата. *(Примеч. автора)*

[^^^]